

Булат
ОКУДЖАВА

Стихотворения



ПОЭЗИЯ
XX
ВЕКА

Булат Шалвович Окуджава

Стихотворения

ada

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=161135

Булат Окуджава. Стихотворения: Профиздат; Москва; 2001

ISBN 5-255-01377-3

Аннотация

В настоящую книгу Булата Шалвовича Окуджавы вошли избранные произведения, написанные поэтом на протяжении почти полувекового творческого пути. В ней широко представлены как известные стихи-песни раннего периода, которые не раз звучали по радио, с концертной эстрады, с киноэкранов, так и стихотворения последних лет.

Содержание

НОВОЕ УТРО	9
* * *	10
ПОЛНОЧНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС	11
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НА ПЕРЕДОВОЙ	13
АНГЕЛЫ	15
СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ МАРШ	17
КОРОЛЬ	19
ПЕСЕНКА О СОЛДАТСКИХ САПОГАХ	21
* * *	23
ПОДМОСКОВЬЕ	24
ВОБЛА	29
* * *	31
* * *	33
ВАНЬКА МОРОЗОВ	34
ГОЛУБОЙ ШАРИК	36
ВЕСЕЛЫЙ БАРАБАНЩИК	37
ТАМАНЬ	38
* * *	40
* * *	42
ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ	44
* * *	46
САПОЖНИК	47
ИСКАЛА ПРАЧКА КЛАД	49

ПЕСЕНКА О КОМСОМОЛЬСКОЙ БОГИНЕ	50
***	52
***	53
ПЕСЕНКА ОБ АРБАТЕ	54
ЖИВОПИСЦЫ	55
***	56
АРБАТСКИЙ ДВОРИК	57
ДЖАЗИСТЫ	58
РОДИНА	60
***	62
***	64
ТЕЛЕГРАФ МОЕЙ ДУШИ	65
***	67
***	69
***	70
***	72
БУМАЖНЫЙ СОЛДАТИК	74
***	75
О КУЗНЕЧИКАХ	76
***	78
СТАРЫЙ ПИДЖАК	79
ДЕЖУРНЫЙ ПО АПРЕЛЮ	80
ПО СМОЛЕНСКОЙ ДОРОГЕ	81
ОСЕНЬ В КАХЕТИИ	82
ЧУДЕСНЫЙ ВАЛЬС	84
В БАРАБАННОМ ПЕРЕУЛКЕ	86

***	88
ПЕСЕНКА ОБ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ	89
ПЕСЕНКА О ПЕХОТЕ	90
***	92
КАК Я СИДЕЛ В КРЕСЛЕ ЦАРЯ	93
ЛЕНИНГРАДСКАЯ МУЗЫКА	96
***	98
ДВА ВЕЛИКИХ СЛОВА	100
НОЧНОЙ РАЗГОВОР	102
КАРАВАЙ	104
ГЛАВНАЯ ПЕСЕНКА	105
СТИХИ БЕЗ НАЗВАНИЯ	106
МУЗЫКА	111
***	113
ХРАМУЛИ	115
ПОСЛЕДНИЙ МАНГАЛ	117
ФРЕСКИ	119
МАРТ ВЕЛИКОДУШНЫЙ	123
КРАСНЫЕ ЦВЕТЫ	125
ЭТА КОМНАТА	127
ПЕСЕНКА О НОЧНОЙ МОСКВЕ	129
ПИСЬМО АНТОКОЛЬСКОМУ	131
В ГОРОДСКОМ САДУ	133
ФРАНСУА ВИЙОН	135
ОСЕНЬ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ	137
ЗНОЙ	138

ИЗ ОКНА ВАГОНА	139
ОДНА МОРКОВЬ С ЗАБРОШЕННОГО ОГОРОДА	141
ВРЕМЕНА	143
ПРОЩАНИЕ С ОСЕНЬЮ	145
* * *	147
МОЙ КАРАНДАШНЫЙ ПОРТРЕТ	148
* * *	150
ФОТОГРАФИИ ДРУЗЕЙ	152
* * *	154
КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ	156
КАК НАУЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ	158
* * *	160
ПЕСЕНКА О ХУДОЖНИКЕ ПИРОСМАНИ ГРИБОЕДОВ В ЦИНАНДАЛИ	162
ВСТРЕЧА	166
ЦИРК	168
* * *	170
ПРОЩАНИЕ С НОВОГОДНЕЙ ЕЛКОЙ	172
ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАМЯТИ	174
ГРУЗИНСКАЯ ПЕСНЯ	176
ПЕСЕНКА О ДАЛЬНЕЙ ДОРОГЕ	178
СТАРИННАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЕСНЯ	180
* * *	182
ПЕСЕНКА О МОЦАРТЕ	184
РОМАНС	186

* * *	188
ПРИЕЗЖАЯ СЕМЬЯ ФОТОГРАФИРУЕТСЯ У ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ	190
* * *	192
СЧИТАЛОЧКА ДЛЯ БЕЛЛЫ	194
БАТАЛЬНОЕ ПОЛОТНО	197
СТАРИННАЯ СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ	199
ЖИЗНЬ ОХОТНИКА	200
ПОСЛЕВОЕННОЕ ТАНГО	206
ВЕСНА	208
ЧАЕПИТИЕ НА АРБАТЕ	210
Я ПИШУ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН	214
ПЕСЕНКА КАВАЛЕРГАРДА	216
* * *	218
БОЖЕСТВЕННАЯ СУББОТА	219
* * *	221
* * *	223
ДОМ НА МОЙКЕ	225
* * *	227
ЕЩЕ ОДИН РОМАНС	229
О ВОЛОДЕ ВЫСОЦКОМ	231
* * *	232
НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ	234
ДОРОЖНАЯ ПЕСНЯ	236
АВТОПАРОДИЯ НА НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ СТИХИ	238

ПОЛДЕНЬ В ДЕРЕВНЕ	240
***	244
***	246
ПАРИЖСКАЯ ФАНТАЗИЯ	248
АРБАТСКИЕ НАПЕВЫ	250
***	253
НАДПИСЬ НА КАМНЕ	255
МУЗЫКАНТ	256
ПРИЛОЖЕНИЕ	258
***	259
ПРИМЕТА	261
***	263
***	265
***	266
***	267
ПЕСЕНКА О МОЛОДОМ ГУСАРЕ	269
***	271
***	273
***	275
***	276
***	277

Булат Окуджава

Стихотворения

Посвящаю эту книгу моей маме

НОВОЕ УТРО

Не клонись-ка ты, головушка,
от невзгод и от обид,
мама, белая голубушка,
утро новое горит.
Все оно смывает начисто,
все разглаживает вновь...
Отступает одиночество,
возвращается любовь.
И сладки, как в полдень пасеки,
как из детства голоса,
твои руки, твои песенки,
твои вечные глаза.

1957



Пароход попрощается басом,
и пойдет волной его качать...
В жизни я нашибался.
Не пора ли кончать?
Вот я снова собираю пожитки
и... опять совершаю ошибки.
А кто-то кричит мне с порога:
– Это ж не дорога, а морока!...
А мне спешить далеко-далеко:
жизнь не дается на два срока.

1957

ПОЛНОЧНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

Когда мне невмочь пересилить беду,
когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь на ходу,
в последний,
в случайный.

Полночный троллейбус, по улице мчи,
верши по бульварам круженье,
чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
крушенье,
крушенье.

Полночный троллейбус, мне дверь отвори!
Я знаю, как в зябкую полночь
твои пассажиры – матросы твои —
приходят
на помощь.

Я с ними не раз уходил от беды,
я к ним прикасался плечами...
Как много, представьте себе, доброты
в молчанье,
в молчанье.

Полночный троллейбус плывет по Москве,
Москва, как река, затухает,
и боль, что скворчком стучала в виске,
стихает,

стихает.

1957

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НА ПЕРЕДОВОЙ

Волнения не выдавая,
оглядываюсь, не спрашивая.
Так вот она – передовая!
В ней ничего нет страшного.
Трава не выжжена, лесок не хмур,
и до поры
объявляется перекур.
Звенят комары.
Звенят, звенят
возле меня.
Летят, летят —
крови моей хотят.
Отбиваюсь в изнеможении
и вдруг попадаю в сон:
дым сражения, окружение,
гибнет, гибнет мой батальон.
А пули звенят
возле меня.
Летят, летят —
крови моей хотят.
Кричу, обессилив,
через хрипоту:
«Пропадаю!»
И к ногам осины,

весь в поту,
припадаю.
Жить хочется!
Жить хочется!
Когда же это кончится?...
Мне немного лет...
гибнуть толку нет...
я ночных дозоров не выстоял...
я еще ни разу не выстрелил...
И в созревшую листву зарываюсь
и просыпаюсь...
Я, к стволу осины прислонившись, сажу,
я в глаза товарищам гляжу-гляжу:
а что, если кто-нибудь в том сне побывал?
А что, если видели, как я воевал?

1957

АНГЕЛЫ

Выходят танки из леска,
устало роют снег,
а неотступная тоска
бредет за нами вслед.
Победа нас не обошла,
да крепко обожгла.
Мы на поминках водку пьем,
да ни один не пьян.
Мы пьем напропалую
одну, за ней вторую,
пятую, десятую,
горькую, десантную.
Она течет, и хоть бы черт,
ну хоть бы что – ни капельки...
Какой учет, когда течет?
А на закуску – яблоки.
На рынке не развешенные
дрожащею рукой,
подаренные женщиной,
заплаканной такой.
О ком ты тихо плакала?
Все, знать, не обо мне,
пока я топал ангелом
в защитной простыне.

Ждала, быть может, слова,
а я стоял едва,
и я не знал ни слова,
я все забыл слова.
Слова, слова... О чем они?
И не припомнишь всех.
И яблочко моченое
упало прямо в снег.
На белом снегу
лежит оно.
Я к вам забегу
давным-давно,
как еще до войны,
как в той тишине,
когда так нужны
вы не были мне...

1957

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ МАРШ

Е. Евтушенко

Надежда, я вернусь тогда,
когда трубач отбой сыграет,
когда трубу к губам приблизит
и острый локоть отведет.
Надежда, я останусь цел:
не для меня земля сырая,
а для меня – твои тревоги
и добрый мир твоих забот.
Но если целый век пройдет
и ты надеяться устанешь,
надежда, если надо мною
смерть распахнет свои крыла,
ты прикажи, пускай тогда
трубач израненный привстанет,
чтобы последняя граната
меня прикончить не смогла.
Но если вдруг когда-нибудь
мне уберечься не удастся,
какое новое сражение
ни покачнуло б шар земной,
я все равно паду на той,
на той далекой, на гражданской,
и комиссары в пыльных шлемах

склонятся молча надо мной.

1957

КОРОЛЬ

Во дворе, где каждый вечер все играла радиола,
где пары танцевали, пыля,
ребята уважали очень Леньку Королева
и присвоили ему званье короля.

Был король, как король, всемогущ. И если другу
станет худо и вообще не повезет,
он протянет ему свою царственную руку,
свою верную руку – и спасет.

Но однажды, когда «мессершмитты», как вороны,
разорвали на рассвете тишину,
наш Король, как король, он кепчонку, как корону —
набекрень, и пошел на войну.

Вновь играет радиола, снова солнце в зените,
да некому оплакать его жизнь,
потому что тот король был один (уж извините),
королевой не успел обзавестись.

Но куда бы я ни шел, пусть какая ни забота,
(по делам или так, погулять),
все мне чудится что вот за ближайшим поворотом
Короля повстречаю опять.

Потому что на войне, хоть и правда, стреляют,
не для Леньки сырая земля.

Потому что (виноват), но я Москвы не представляю
без такого, как он, короля.

1957

ПЕСЕНКА О СОЛДАТСКИХ САПОГАХ

Вы слышите, грохочут сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки?
Вы поняли, куда они глядят?
Вы слышите: грохочет барабан?
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней...
Уходит взвод в туман-туман-туман...
А прошлое ясней-ясней-ясней.
А где же наше мужество, солдат,
когда мы возвращаемся назад?
Его, наверно, женщины крадут
и, как птенца, за пазуху кладут.
А где же наши женщины, дружок,
когда вступаем мы на свой порог?
Они встречают нас и вводят в дом,
но в нашем доме пахнет воровством.
А мы рукой на прошлое: вранье!
А мы с надеждой в будущее: свет!
А по полям жиреет воронье,
а по пятам война грохочет вслед.
И снова переулком – сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки...

В затылки наши круглые глядят.

1957



Глаза – неведомые острова
лугов зеленых,
тобою населенных.
Там не в чести слова
и часовые стерегут кордоны.
Там, прямо в утро
окуная головы,
воркуют голуби
задумчиво и мудро.
Там окна плещут
на рассвете ставнями...
А я прикинусь странником,
мешок – за плечи.
Мне нужно в ту страну!
И, поздно или рано,
я зоркую охрану
обману.

1957

ПОДМОСКОВЬЕ

1

Март намечается.
Слезою со щеки
вдруг скатывается издалека...
И вербины цветы, как серые щенки,
ерошат шерсть и просят молока.
И тополи попеременно
босые ноги ставят в снег,
скользя,
шагают, как великие князья, —
как будто безнадежно, но надменно.

2

Кричат за лесом электрички,
от лампы – тени на стене,
и бабочки, как еретички
горят на медленном огне.
Сойди к реке по тропке топкой,

и понесет сквозь тишину
зари вечерней голос тонкий,
ее последнюю струну.
Там отпечатаны коленей
остроконечные следы,
как будто молятся олени,
чтоб не остаться без воды...
По берегам, луной залитым,
они стоят: глаза – к реке,
твердя вечерние молитвы
на тарабарском языке.
Там птицы каркают и стонут.
Синеют к ночи камыши,
и ветры с грустной истомой
все дуют в дудочку души...

3

На белый бал берез не соберу.
Холодный хор хвои хранит молчанье.
Кукушки крик, как камешек отчаянья,
все катится и катится в бору.
И все-таки я жду из тишины
(как тот актер, который знает цену
чужим словам, что он несет на сцену)
каких-то слов, которым нет цены.

Ведь у надежд всегда счастливый цвет,
надежный и таинственный немного,
особенно, когда глядишь с порога,
особенно, когда надежды нет.

4

А знаешь ты,
что времени у нас в обрез
и кошельки легки без серебра,
учитель мой, взъерошенный как бес,
живущий в ожидании добра?
Когда-нибудь
окончится осенний рейс,
и выяснится, наконец, кто прав,
и скинет с плеч своих наш поздний лес
табличку медную:
«За нарушение – штраф!»
Когда-нибудь
внезапно стихнет карусель
осенних роц и неумытых луж,
и только изумленное:
«Ужель
возможно это?!» —
вырвется из душ.
И в небеса

взвѣется бѣлый дым змеей,
и, словно по законам волшебства,
мы пролетим над теплою землей
в обнимку,
как кленовая листва...

5

Где-то там, где первый лег ручей,
где пробился корм, парной и смачный,
начинаются бунты грачей
и жуков торжественные свадьбы.
И меж ними, словно меж людьми,
разворачиваются,
как горы,
долгие мистерии любви
и решительные разговоры.
И к коричневым глазам коров,
и к безумным бусинкам кошачьим
подступают из глубин дворов
и согласие и неудачи...
И тогда доносится с небес,
словно мартовская канонада:
– Вы хотите друг без друга,
без маеты?...
– Не надо! Нет, не надо!

1956-1957

ВОБЛА

Холод войны немилосерд и точен.
Ей равнодушия не занимать.
...Пятеро голодных сыновей и дочек
и одна отчаянная мать.
И каждый из нас глядел в оба,
как по синей клеенке стола
случайная одинокая вобла
к земле обетованной плыла,
как мама руками теплыми
за голову воблу брала,
к телу гордому ее прикасалась,
раздевала ее догола...
Ах, какой красавицей вобла казалась!
Ах, какой крошечной вобла была!
Она клала на плаху буйную голову,
и летели из-под руки
навстречу нашему голоду
чешуи пахучие медяки.
А когда-то кружок звон, как звон
наковален,
как колоколов перелив...
Знатоки ее по пивным смаковали,
королевою снеди пивной нарекли.
...Пятеро голодных сыновей и дочек.

Удар ножа горяч как огонь.
Вобла ложилась кусочек в кусочек —
по сухому кусочку в сухую ладонь.
Нас покачивало военным ветром,
и, наверное, потому
плыла по клеенке счастливая жертва
навстречу спасению моему.

1957



А.Ш.

Нева Петровна, возле вас – все львы.
Они вас охраняют молчаливо.
Я с женщинами не бывал счастливым,
вы – первая. Я чувствую, что – вы.
Послушайте, не ускоряйте бег,
банальным славословьем вас не трону:
ведь я не экскурсант, Нева Петровна,
я просто одинокий человек.
Мы снова рядом. Как я к вам привык!
Я всматриваюсь в ваших глаз глубины.
Я знаю: вас великие любили,
да вы не выбирали, кто велик.
Бывало, вы идете на проспект,
не вслушиваясь в титулы и званья,
а мраморные львы – рысцой за вами
и ваших глаз запоминают свет.
И я, бывало, к тем глазам нагнусь
и отражусь в их океане синем
таким счастливым, молодым и сильным...
Так отчего, скажите, ваша грусть?
Пусть говорят, что прошлое не в счет.
Но волны набегают, берег точат,
и ваше платье цвета белой ночи

мне третий век забыться не дает.

1957



Не бродяги, не пропойцы,
за столом семи морей
вы пропойте, вы пропойте
славу женщине моей!
Вы в глаза ее взгляните,
как в спасение свое,
вы сравните, вы сравните
с близким берегом ее.
Мы земных земней.
И вовсе
к черту сказки о богах!
Просто мы на крыльях носим
то, что носят на руках.
Просто нужно очень верить
этим синим маякам,
и тогда неожиданный берег
из тумана выйдет к вам.

ВАНЬКА МОРОЗОВ

А. Межирову

За что ж вы Ваньку-то Морозова?
Ведь он ни в чем не виноват.
Она сама его морочила,
а он ни в чем не виноват.
Он в старый цирк ходил на площади
и там циркачку полюбил.
Ему чего-нибудь попроще бы,
а он циркачку полюбил.
Она по проволоке ходила,
махала белой рукой,
и страсть Морозова схватила
своей мозолистой рукой.
А он швырял большие сотни:
ему-то было все равно.
А по нему Маруся сохла,
и было ей не все равно.
Он на извозчиках катался,
циркачке чтобы угодить,
и соблазнить ее пытался,
чтоб ей, конечно, угодить.
Не думал, что она обманет:
ведь от любви беды не ждешь...
Ах Ваня, Ваня, что ж ты, Ваня?

Ведь сам по проволоке идешь!

1957

ГОЛУБОЙ ШАРИК

Девочка плачет: шарик улетел.

Ее утешают, а шарик летит.

Девушка плачет: жениха все нет.

Ее утешают, а шарик летит.

Женщина плачет: муж ушел к другой.

Ее утешают, а шарик летит.

Плачет старушка: мало пожила...

А шарик вернулся, а он голубой.

1957

ВЕСЕЛЫЙ БАРАБАНЩИК

Встань пораньше, встань пораньше,
встань пораньше,
Когда дворники маячат у ворот.
Ты увидишь, ты увидишь
как веселый барабанщик
в руки палочки кленовые берет.
Будет полдень, суматохою пропахший,
звон трамваев и людской водоворот,
но прислушайся – услышишь,
как веселый барабанщик
с барабаном вдоль по улице идет.
Будет вечер – заговорщик и обманщик,
темнота на мостовые упадет,
но взглядишь – и ты увидишь,
как веселый барабанщик
с барабаном вдоль по улице идет.
Грохот палочек... то ближе он, то дальше.
Сквозь сумятицу, и полночь, и туман...
Неужели ты не слышишь,
как веселый барабанщик
вдоль по улице пронесит барабан?!

ТАМАНЬ

Год сорок первый. Зябкий туман.
Уходят последние солдаты в Тамань.
А ему подписан пулей приговор.
Он лежит у кромки береговой,
он лежит на самой передовой:
ногами – в песок,
к волне – головой.
Грязная волна напозаает едва —
приподнимается слегка голова;
вспять волну прилив отнесет —
ткнется устало голова в песок.
Эй, волна!
Перестань, не шамань:
не заманишь парня в Тамань...
Отучило время меня дома сидеть.
Научило время меня в прорезь глядеть.
Скоро ли – не скоро, на том ли берегу
я впервые выстрелил на бегу.
Отучило время от доброты:
атака, атака, охрипшие рты...
Вот и я гостинцы раздаю-раздаю...
Попомните
трудную щедрость мою.

1958



Не вели, старшина, чтоб была тишина.
Старшине не все подчиняется.
Эту грустную песню
придумала война...
Через час штыковой начинается.
Земля моя, жизнь моя,
свет мой в окне...
На горе врагу улыбнусь я в огне.
Я буду улыбаться, черт меня возьми,
в самом пекле рукопашной возни.
Пусть хоть жизнь свою укорачивая,
я пойду напрямик
в пулеметное поколачиванье,
в предсмертный крик.
А если, на шаг всего опередив,
достанет меня пуля какая-нибудь,
сложите мои кулаки на груди
и улыбку мою положите на грудь.
Чтоб видели враги мои
и знали бы впредь,
как счастлив я за землю мою умереть!
...А пока в атаку не сигналила медь,
не мешай, старшина, эту песню допеть.
Пусть хоть что судьбой напроорочится:

хоть славная смерть,
хоть геройская смерть —
умирать все равно, брат, не хочется.

1958



Я уйду от пули,
делаю отчаянный рывок.
Я снова живой
на выжженном теле Крыма.
И вырастают
вместо крыльев тревог
за моей человеческой спиной
надежды крылья.
Васильками над бруствером
уцелевшими от огня,
склонившимися
над выжившим отделением,
жизнь моя довоенная
разглядывает меня
с удивленьем.
До первой пули я хвастал:
чего не могу посметь?
До первой пули
врал я напропалую.
Но свистнула первая пуля,
кого-то накрыла смерть,
а я приготовился
пулю встретить вторую.
Ребята, когда нас выплеснет

из окопа четкий приказ,
не растопчите
этих цветов в наступленье:
пусть синими их глазами
глядит и глядит на нас
идущее за нами поколение.

1958

ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли —
повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли, за солдатом — солдат...

До свидания, мальчики!

Мальчики,

постарайтесь вернуться назад.

Вы не прячьтесь, вы будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат.

И себя не щадите вы!

И все-таки

постарайтесь вернуться назад.

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:

вместо свадеб — разлуки и дым,
наши девочки платица белые
раздали сестренкам своим.

Сапоги — ну куда от них денешься?

Да зеленые крылья погон...

Вы наплюйте на сплетников, девочки.

Мы сведем с ними счеты потом.

Пусть болтают, что верить вам не во что,
что идете войной наугад...

До свидания, девочки!
Девочки,
постарайтесь вернуться назад.

1958



Сто раз закат краснел, рассвет синел,
сто раз я клял тебя, песок моздокский,
пока ты жег насквозь мою шинель
и блиндажа жевал сухие доски.
А я жевал такие сухари!
Они хрустели на зубах, хрустели...
А мы шинели рваные расстелим —
и ну жевать.
Такие сухари!
Их десять лет сушили, не соврать,
да ты еще их выбелил, песочек...
А мы, бывало, их в воде размочим —
и ну жевать, и крошек не собрать.
Сыпь пощедрей, товарищ старшина!
Пируем – и солдаты и начальство...
А пули?
Пули были. Били часто.
Да что о них рассказывать, —
война.

САПОЖНИК

Кузьма Иванович – сапожник ласковый.
Он сапоги фасонные тачает.
А черный молоток его, как ласточка,
хвостом своим раздвоенным качает.
Он занят целый день поклонами,
тот молоток. Он по подметкам метит.
А к вечеру – все гвоздики поклеваны,
все сапоги починены на свете.
Я слышу рассуждения домашние,
когда над головою свет потухнет:
кто носит сапоги – пускай донашивает...
А сам Кузьма Иваныч носит туфли.
Постукивает под крыльцом, позевывает
и постепенно понимает вроде,
что ну их к черту, сапоги кирзовые...
А сапоги фасонные не в моде.
Кузьма Иванович, ступай на пенсию:
есть фабрики – военных обошьют.
Но пусть война останется за песнею.
А ласточке твоей пора на юг.
Она хвостом своим качнет раздвоенным,
из рук твоих натруженных рванется
и полетит над грозами, над войнами...
А ты сиди и жди. Она вернется.

1958

ИСКАЛА ПРАЧКА КЛАД

На дне глубокого корыта
так много лет подряд
не погребенный, не зарытый
искала прачка клад.
Корыто от прикосновенья
звенело под струну,
и плыли пальцы, розовея,
и шарили по дну.
Корыта стенки как откосы,
омытые волной.
Ей снился сын беловолосый
над этой глубиной.
И что-то очень золотое,
как в осень листопад...
И билась пена о ладони —
искала прачка клад.

1958

ПЕСЕНКА О КОМСОМОЛЬСКОЙ БОГИНЕ

Я смотрю на фотокарточку:
две косички, строгий взгляд,
и мальчишеская курточка,
и друзья кругом стоят.
За окном все дождик тенькает:
там ненастье во дворе.
Но привычно пальцы тонкие
прикоснулись к кобуре.
Вот скоро дом она покинет,
вот скоро вспыхнет гром кругом,
но комсомольская богиня...
Ах, это, братцы, о другом!
На углу у старой булочной,
там, где лето пыль метет,
в синей маечке-футболочке
комсомолочка идет.
А ее коса острижена,
в парикмахерской лежит.
Лишь одно колечко рыжее
на виске ее дрожит.
И никаких богов в помине,
лишь только дела гром кругом,
но комсомольская богиня...

Ах, это, братцы, о другом!

1958



Е. Рейну

Из окон корочкой несет поджаристой.
За занавесками – мельканье рук.
Здесь остановки нет, а мне – пожалуйста:
шофер в автобусе – мой лучший друг.
А кони в сумерках колышут гривами.
Автобус новенький, спеши, спеши!
Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный
в любую сторону твоей души.
Я знаю, вечером ты в платье шелковом
пойдешь по улице гулять с другим...
Ах Надя, брось коней кнутом нащелкивать,
попридержи-ка их, поговорим!
Она в спецовочке, в такой промасленной,
берет немыслимый такой на ней...
Ах Надя, Наденька, мы были б счастливы...
Куда же гонишь ты своих коней!
Но кони в сумерках колышут гривами.
Автобус новенький спешит-спешит.
Ах Надя, Наденька, мне б за двугривенный
в любую сторону твоей души!



Часовые любви на Смоленской стоят.
Часовые любви у Никитских не спят.
Часовые любви
по Петровке идут неизменно...
Часовым полагается смена.
О великая вечная армия,
где не властны слова и рубли,
где все – рядовые: ведь маршалов нет у любви!
Пусть поход никогда ваш не кончится.
О, когда б только эти войска!...
Сквозь зимы и вьюги к Москве подступает
весна.
Часовые любви на Волхонке стоят.
Часовые любви на Неглинной не спят.
Часовые любви
по Арбату идут неизменно...
Часовым полагается смена.

ПЕСЕНКА ОБ АРБАТЕ

Ты течешь, как река. Странное название!
И прозрачен асфальт, как в реке вода.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты – мое призвание.
Ты – и радость моя, и моя беда.
Пешеходы твои – люди невеликие,
каблуками стучат – по делам спешат.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты – моя религия,
мостовые твои подо мной лежат.
От любви твоей вовсе не излечишься,
сорок тысяч других мостовых любя.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты – мое отечество,
никогда до конца не пройди тебя.

1959

ЖИВОПИСЦЫ

Живописцы, окуните ваши кисти
в суету дворов арбатских и в зарю,
чтобы были ваши кисти словно листья.
Словно листья,
словно листья к ноябрю.
Окуните ваши кисти в голубое,
по традиции забытой городской,
нарисуйте и прилежно и с любовью,
как с любовью мы проходим по Тверской.
Мостовая пусть качнется, как очнется!
Пусть начнется, что еще не началось!
Вы рисуйте, вы рисуйте,
вам зачтется...
Что гадать нам:
удалось – не удалось?
Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы,
наше лето, нашу зиму и весну...
Ничего, что мы – чужие.
Вы рисуйте!
Я потом, что непонятно, объясню.



Когда затихают оркестры Земли
и все музыканты ложатся в постели,
по Сивцеву Вражку проходит шарманка —
смешной, отставной, одноногий солдат.
Представьте себе:
от ворот до ворот,
в ночи наши жесткие души тревожа,
по Сивцеву Вражку проходит шарманка,
когда затихают оркестры Земли.

1959

АРБАТСКИЙ ДВОРИК

...А годы проходят, как песни.
Иначе на мир я гляжу.
Во дворике этом мне тесно,
и я из него уйду.
Ни почестей и ни богатства
для дальних дорог не прошу,
но маленький дворик арбатский
с собой уношу, уношу.
В мешке вещевом и заплечном
лежит в уголке
небольшой,
не слывший, как я, безупречным
тот двор с человеческой душой.
Сильнее я с ним и добрее.
Что нужно еще?
Ничего.
Я руки озябшие грею
о теплые камни его.

1959

ДЖАЗИСТЫ

С. Рассадину

Джазисты уходили в ополченье,
цивильного не скинув облаченья.
Тромбонов и чечеток короли
в солдаты необученные шли.
Кларнетов принцы, словно принцы крови,
магистры саксофонов шли,
и, кроме,
шли барабанных палок колдуны
скрипучими подмостками войны.
На смену всем оставленным заботам
единственная зрела впереди,
и скрипачи ложились к пулеметам,
и пулеметы бились на груди.
Но что поделать, что поделать, если
атаки были в моде, а не песни?
Кто мог тогда их мужество учесть,
когда им гибнуть выпадала честь?
Едва затихли первые сраженья,
они рядком лежали. Без движенья.
В костюмах предвоенного шитья,
как будто притворяясь и шутя.
Редели их ряды и убывали.
Их убивали, их позабывали.

И все-таки под музыку Земли
их в поминанье светлое внесли,
когда на пяточке земного шара
под майский марш, торжественный такой,
отбила каблуки, танцуя, пара
за упокой их душ.
За упокой.

1959

РОДИНА

Говоришь ты мне слово покоя.
Говоришь ты мне слово любви.
Говоришь ты мне слово такое,
восхищенное слово «Живи!».
Я тобою в мучениях нажит,
в долгих странствиях каждого дня.
Значит, нужен тебе я и важен,
если ты позвала вдруг меня.
Говоришь ты мне долгие сроки.
Говоришь ты мне слово «Твори!».
Мои руки – они твои слуги,
не мои они слуги – твои.
И твое меня греет дыханье.
Значит, с празднествами и бедой,
с мелочами моими, с грехами
я единственный, праведный, твой.
Значит, люб я тебе хоть немного,
если, горечь разлуки клубя,
говоришь ты мне слово «Тревога!»,
отрываешь меня от себя.
И наутро встаю я и снова
отправляюсь в решительный бой...
Остается последнее слово.
Оставляю его за собой.

1959



Опустите, пожалуйста, синие шторы.
Медсестра, всяких снадобий мне не готовь.
Вот стоят у постели моей кредиторы
молчаливые: Вера, Надежда, Любовь.
Раскошелиться б сыну недолгого века,
да пусты кошельки упадают с руки...
Не грусти, не печалуйся, о моя Вера, —
остаются еще у тебя должники!
И еще я скажу и бессильно и нежно,
две руки виновато губами ловя:
— Не грусти, не печалуйся, матерь Надежда, —
есть еще на земле у тебя сыновья!
Протяну я Любви ладони пустые,
покаянный услышу я голос ее:
— Не грусти, не печалуйся, память не стынет,
я себя раздарила во имя твое.
Но какие бы руки тебя ни ласкали,
как бы пламень тебя ни сжигал неземной,
в троекратном размере болтливость людская
за тебя расплатилась... Ты чист предо мной!
Чистый-чистый лежу я в наплывах рассветных,
перед самым рождением нового дня...
Три сестры, три жены, три судьбы милосердных
открывают последний кредит для меня.

1959



О.Б.

Мы стоим – крестами руки —
безутешны и горды,
на окраине разлуки,
у околицы беды,
где, размеренный и липкий,
неподкупен ход часов,
и улыбки, как калитки,
запираем на засов.
Наступает час расплаты,
подступает к горлу срок...
Ненадежно мы распяты
на крестах своих дорог.

1959

ТЕЛЕГРАФ МОЕЙ ДУШИ

С. Ломинадзе

Стихло в улицах вранье.
Замерло движенье.
Улетело воронье
на полях сраженья.
Лишь ползут из тишины,
сердце разрывая,
как извозчики войны,
красные трамваи.
Надеваю шинель —
главную одежду,
понимаю сильнеей
всякую надежду.
Замирает в тиши,
чуткий, голосистый,
телеграф моей души:
нет телеграфиста.
Он несет свой синий кант
по сраженьям грозным.
Он уже прописан там.
Там с пропиской просто.
Южный фронт. Бельэтаж.
У конца дороги.
От угла – второй блиндаж...

Вытирайте ноги!

1959



О.Б.

...И когда под вечер над тобою
журавли охрипшие летят,
ситцевые женщины толпою
сходятся – затмить тебя хотят.
Молчаливы. Ко всему готовы.
Окружают, красотой соря...
Ситцевые, ситцевые, что вы!
Вы с ума сошли: она ж – своя!
Там, за поворотом Малой Бронной,
где окно распахнуто на юг,
за ее испуганные брови
десять пар непуганных дают.
Тех, которые ее любили,
навсегда связала с ней судьба.
И за голубями голубыми
больше не уходят ястреба.
Вот и мне не вырваться из плена.
Так кружиться мне, и так мне жить...
Я – алхимик.
Ты – моя проблема
вечная...
тебя не разрешить.

1959



О.Б.

Мне нужно на кого-нибудь молиться.
Подумайте, простому муравью
вдруг захотелось в ноженьки валиться,
поверить в очарованность свою!
И муравья тогда покой покинул,
все показалось будничным ему,
и муравей создал себе богиню
по образу и духу своему.
И в день седьмой, в какое-то мгновенье,
она возникла из ночных огней
без всякого небесного знаменья...
Пальтишко было легкое на ней.
Все позабыв – и радости и муки,
он двери распахнул в свое жилье
и целовал обветренные руки
и старенькие туфельки ее.
И тени их качались на пороге.
Безмолвный разговор они вели,
красивые и мудрые, как боги,
и грустные, как жители земли.



О.Б.

Звезды сыплются в густую траву...
Я в деревне Лазаревке живу,
где налево от ворот любых
километры лесов голубых,
где направо от любых ворот
волчьих вотчин невпроворот.
Я в деревне Лазаревке живу,
вдоль по Лазаревке странствую...
Ты пошли мне, Лазаревка, жену,
как ты, Лазаревка, ласковую,
как ты, Лазаревка, крутую в мороз,
как ты, Лазаревка, жаркую;
чтоб звалась она Марфою,
чтобы ей без меня не жилось,
чтобы отражались в тихой заводи
армии Марфиных соловьев,
чтобы таял от тихой зависти
синий снег под пимами ее.
А когда трактора приползают с марша,
тарахтя на все голоса,
чтоб маячила у околицы Марфа,
тоненькая, как лоза.

1959



Раскрываю страницы ладоней,
молчаливых ладоней твоих,
что-то светлое и молодое,
удивленное смотрит из них.
Я листаю страницы.

Маячит
пережитое.

Я как в плену.

Вон какой-то испуганный мальчик
сам с собою играет в войну.

Вон какая-то женщина плачет —
очень падают слезы в цене,
и какой-то задумчивый мальчик
днем и ночью идет по войне.

Я листаю страницы,
листаю,

исступленно листаю листы:
пережитого громкие стаи,
как синицы,
летят на кусты.

И уже не найти человека,
кто не понял бы вдруг на заре,
что погода двадцатого века
началась на арбатском дворе.

О, ладони твои все умеют,
все, что было, читаю по ним,
и когда мои губы немеют,
припадаю к ладоням твоим,
припадаю к ладоням горячим,
в синих жилках веселых тону...
Кто там плачет?...
Никто там не плачет...
Просто дети играют в войну!

1959

БУМАЖНЫЙ СОЛДАТИК

Один солдат на свете жил,
красивый и отважный,
но он игрушкой детской был:
ведь был солдат бумажный.
Он переделать мир хотел,
чтоб был счастливым каждый,
а сам на ниточке висел:
ведь был солдат бумажный.
Он был бы рад – в огонь и в дым,
за вас погибнуть дважды,
но потешались вы над ним:
ведь был солдат бумажный.
Не доверяли вы ему
своих секретов важных,
а почему?
А потому,
что был солдат бумажный.
В огонь? Ну что ж, иди! Идешь?
И он шагнул однажды,
и там сгорел он ни за грош:
ведь был солдат бумажный.



Б.А.

Рифмы, милые мои,
баловни мои,
гордячки!
Вы – как будто соловьи
из бессонниц и горячки,
вы – как музыка за мной,
умопомраченья вроде,
вы – как будто шар земной,
вскрикнувший
на повороте.
С вами я, как тот богач,
и куражусь и чудачу,
но из всяких неудач
выбираю вам удачу...
Я как всадник на коне
со склоненной головою...
Господи,
легко ли мне?...
Вам-то
хорошо ль
со мною?...

О КУЗНЕЧИКАХ

Два кузнечика зеленых в траве, насупившись,
сидят.

Над ними синие туманы во все стороны летят.
Под ними красные цветочки и золотые лопухи...

Два кузнечика зеленых пишут белые стихи.

Они перышки макают в облака и молоко,
чтобы белые их строчки было видно далеко,
и в затылках дружно чешут, каждый лапкой
шевелит,

но заглядывать в работу
один другому не велит.

К ним бежит букашка божья, бедной барышней
бежит,

но у них к любви и ласкам что-то сердце не
лежит.

К ним и прочие соблазны подбираются, тихи,
но кузнечики не видят – пишут белые стихи.

Снег их бьет, жара их мучит, мелкий дождичек
кропит,

шар земной на повороте
отвратительно скрипит...

Но меж летом и зимою, между счастьем и бедой
прорастает неизменно вещей смысл работы той,
и сквозь всякие обиды

пробиваются в века
хлеб (поэма),
жизнь (поэма),
ветка тополя (строка)...

1960



Г.В.

Тьмою здесь все занавешено
и тишина, как на дне...
Ваше величество женщина,
да неужели – ко мне?
Тусклое здесь электричество,
с крыши сочится вода.
Женщина, ваше величество,
как вы решились сюда?
О, ваш приход – как пожарище.
Дымно, и трудно дышать...
Ну, заходите, пожалуйста.
Что ж на пороге стоять?
Кто вы такая? Откуда вы?!
Ах, я смешной человек...
Просто вы дверь перепутали,
улицу, город и век.

1960

СТАРЫЙ ПИДЖАК

Ж.Б.

Я много лет пиджак ношу.
Давно потерялся и не нов он.
И я зову к себе портного
и перешить пиджак прошу.
Я говорю ему шутя:
«Перекроите все иначе.
Сулит мне новые удачи
искусство кройки и шитья».
Я пошутил. А он пиджак
серьезно так перешивает,
а сам-то все переживает:
вдруг что не так. Такой чудак.
Одна забота наяву
в его усердьи молчаливом,
чтобы я выглядел счастливым
в том пиджаке. Пока живу.
Он представляет это так:
едва лишь я пиджак примерю —
опять в твою любовь поверю...
Как бы не так. Такой чудак.

ДЕЖУРНЫЙ ПО АПРЕЛЮ

Ж.Б.

Ах, какие удивительные ночи!

Только мама моя в грусти и тревоге:

– Что же ты гуляешь, мой сыночек,

одинокий,

одинокий? —

Из конца в конец апреля путь держу я.

Стали звезды и круглее и добрее...

– Мама, мама, это я дежурю,

я – дежурный

по апрелю!

– Мой сыночек, вспоминаю все, что было,

стали грустными глаза твои, сыночек...

Может быть, она тебя забыла,

знать не хочет?

Знать не хочет? —

Из конца в конец апреля путь держу я.

Стали звезды и круглее и добрее...

– Что ты, мама! Просто я дежурю,

я – дежурный

по апрелю...

ПО СМОЛЕНСКОЙ ДОРОГЕ

Ж.Б.

По Смоленской дороге – леса, леса, леса.
По Смоленской дороге – столбы, столбы, столбы.
Над Смоленской дорогою, как твои глаза, —
две вечерних звезды – голубых моих судьбы.
По Смоленской дороге – метель в лицо, в лицо,
все нас из дому гонят дела, дела, дела.
Может, будь понадежнее рук твоих кольцо —
покороче б, наверно, дорога мне легла.
По Смоленской дороге – леса, леса, леса.
По Смоленской дороге – столбы гудят, гудят.
На дорогу Смоленскую, как твои глаза,
две холодных звезды голубых глядят, глядят.

1960

ОСЕНЬ В КАХЕТИИ

Вдруг возник осенний ветер,
и на землю он упал.
Красный ястреб в листьях красных
словно в краске утопал.
Были листья странно скроены,
похожие на лица, —
сумасшедшие закройщики кроили эти листья,
озорные, заводные посшивали их швеи...
Листья падали
на палевые
пальчики
свои.
Называлось это просто: отлетевшая листва.
С ней случалось это часто
по традиции по давней.
Было поровну и в меру в ней
улыбки и страданья,
торжества и увяданья,
колдовства и мастерства.
И у самого порога, где кончается дорога,
веселился и кружился и плясал
хмельной немного
лист осенний,
лист багряный,

лист с нелепою резьбой...

В час, когда печальный ястреб вылетает
на разбой.

1960

ЧУДЕСНЫЙ ВАЛЬС

Ю. Левитанскому

Музыкант в лесу под деревом
наигрывает вальс.
Он наигрывает вальс
то ласково, то страстно.
Что касается меня,
то я опять гляжу на вас,
а вы смотрите на него,
а он смотрит в пространство.
Целый век играет музыка.
Затянулся наш пикник.
Тот пикник, где пьют и плачут,
любят и бросают.
Музыкант приник губами к флейте.
Я бы к вам приник!
Но вы, наверно, тот родник,
который не спасает.
А музыкант играет вальс.
И он не видит ничего.
Он стоит, к стволу березовому прислонясь
плечами.
И березовые ветки вместо
пальцев у него,
а глаза его березовые

строги и печальны.
А перед ним стоит сосна,
вся в ожидании весны.
А музыкант вращается в землю...
Звуки вальса льются...
И его худые ноги
как будто корни той сосны —
они в земле переплетаются,
никак не расплетутся.
Целый век играет музыка.
Затянулся наш роман.
Он затянулся в узелок, горит он — не
сгорает...
Ну давайте ж успокоимся!
Разойдемся по домам!...
Но вы глядите на него...
А музыкант играет.

1961

В БАРАБАННОМ ПЕРЕУЛКЕ

В Барабанном переулке
барабанщики живут.
Поутру они как встанут,
барабаны как возьмут,
как ударят в барабаны,
двери настежь отворя...
Где же, где же, барабанщик,
барабанщица твоя?
В Барабанном переулке
барабанщиц нет, хоть плачь.
Лишь грохочут барабаны
ненасытные, хоть прячь.
То ли утренние зори,
то ль вечерняя заря...
Где же, где же, барабанщик,
барабанщица твоя?
Барабанщик пестрый бантик
к барабану привязал,
барабану бить побудку,
как по буквам, приказал
и пошел по переулку,
что-то в сердце затая...
Где же, где же, барабанщик,
барабанщица твоя?

А в соседнем переулке
барабанщицы живут
и, конечно, в переулке,
очень добрыми слывут,
и за ними ведь не надо
отправляться за моря...
Где же, где же, барабанщик,
барабанщица твоя?!

1961



Всю ночь кричали петухи
и шеями мотали,
как будто новые стихи,
закрыв глаза, читали.
Но было что-то в крике том
от едкой той кручины,
когда, согнувшись, входят в дом
постылые мужчины.
И был тот крик далек-далек
и падал так же мимо,
как гладят, глядя в потолок,
чужих и нелюбимых.
Когда ласкать уже невмочь
и отказаться трудно...
И потому всю ночь, всю ночь
не наступало
утро.

ПЕСЕНКА ОБ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ

Когда метель кричит как зверь —
протяжно и сердито,
не запирайте вашу дверь,
пусть будет дверь открыта.
И если ляжет дальний путь,
нелегкий путь, представьте,
дверь не забудьте распахнуть,
открытой дверь оставьте.
И, уходя, в ночной тиши
без долгих слов решайте:
огонь сосны с огнем души
в печи перемешайте.
Пусть будет теплою стена
и мягкой — скамейка...
Дверям закрытым — грош цена,
замку цена — копейка.

ПЕСЕНКА О ПЕХОТЕ

Простите пехоте,
что так неразумна бывает она:
всегда мы уходим,
когда над землю бушует весна.
И шагом неверным
по лестничке шаткой
спасения нет...
Лишь белые вербы,
как белые сестры, глядят тебе вслед.
Не верьте погоде,
когда затяжные дожди она льет.
Не верьте пехоте,
когда она бравые песни поет.
Не верьте, не верьте,
когда по садам закричат соловьи:
у жизни и смерти
еще не окончены счета свои.
Нас время учило:
живи по-походному, дверь отворя...
Товарищ мужчина,
а все же заманчива доля твоя:
весь век ты в походе,
и только одно отрывает от сна:
чего ж мы уходим,

когда над землею бушует весна?

1961



Допеты все песни.
И точка.
И хватит, и хватит о том.
Ну, может, какая-то строчка
осталась еще за бортом.
Над нею кружатся колеса,
но, даже когда не свернуть,
наивна и простоволоса,
она еще жаждет сверкнуть.
Надейся, надейся, голубка,
свои паруса пораскинь,
ты хрупкая, словно скорлупка,
по этим морям городским.
Куда тебя волны ни бросят,
на помощь теперь не зови.
С тебя ничего уж не спросят:
как хочется – так и плыви,
подобна мгновенному снимку,
где полночь и двор в серебре,
и мальчик с гитарой в обнимку
на этом арбатском
дворе.

КАК Я СИДЕЛ В КРЕСЛЕ ЦАРЯ

Век восемнадцатый.
Актеры
играют прямо на траве.
Я – Павел Первый,
тот, который
сидит России во главе.
И полонезу я внимаю,
и головою в такт верчу,
по-царски руку поднимаю,
но вот что крикнуть я хочу:
«Срывайте тесные наряды!
Презренье хрупким каблукам...
Я отменяю все парады...
Чешите все по кабакам...
Напейтесь все,
переженитесь
кто с кем желает,
кто нашел...
А ну, вельможи, оглянитесь!
А ну-ка денежки на стол!...»
И золотую шпагу нервно
готовлюсь выхватить, грозя...
Но нет, нельзя.
Я ж Павел Первый.

Мне бунт устраивать нельзя.
И снова полонеза звуки.
И снова крикнуть я хочу:
«Ребята,
наострите руки,
вам это дело по плечу:
смахнем царя... Такая ересь!
Жандармов всех пошлем к чертям —
мне самому они приелись...
Я поведу вас сам...
Я сам...»
И золотую шпагу нервно
готовлюсь выхватить, грозя...
Но нет, нельзя.
Я ж – Павел Первый.
Мне бунт устраивать нельзя.
И снова полонеза звуки.
Мгновение – и закричу:
«За вашу боль, за ваши муки
собой пожертвовать хочу!
Не бойтесь,
судей не жалейте,
иначе —
всем по фонарю.
Я зрю сквозь целое столетье...
Я знаю, что я говорю!».
И золотую шпагу нервно
готовлюсь выхватить, грозя...
Да мне ж нельзя.

Я – Павел Первый.

Мне бунтовать никак нельзя.

1962

ЛЕНИНГРАДСКАЯ МУЗЫКА

Пока еще звезды последние не отгорели,
вы встаньте, вы встаньте с постели,
сойдите к дворам,
туда, где – дрова, где пестреют мазки
акварели...

И звонкая скрипка Растрелли
послышится вам.

Неправда, неправда,
все – враки, что будто бы старят
старанья и годы! Едва вы очутитесь тут,
как в колокола
купола золотые ударят,
колонны

горластые трубы свои задерут.

Веселую полночь люби – да на утро надейся...
Когда ни грехов и ни горестей не отмолить,
качаясь, игла опрокинется с Адмиралтейства
и в сердце ударит, чтоб старую кровь отворить.
О вовсе не ради парада, не ради награды,
а просто для нас, выходящих с зарей из ворот,
гремят барабаны гранита,
кларнеты ограды
свистят менуэты...

И улица Росси поет!

1962



Оле

Я никогда не витал, не витал
в облаках, в которых я не витал,
и никогда не видал, не видал
городов, которых я не видал.
И никогда не лепил, не лепил
кувшин, который я не лепил,
и никогда не любил, не любил
женщин, которых я не любил...
Так что же я смею?
И что я могу?
Неужто лишь то, чего не могу?
И неужели я не добегу
до дома, к которому я не бегу?
И неужели не люблю
женщин, которых не люблю?
И неужели не разрублю
узел, который не разрублю,
узел, который не развяжу,
в слове, которого я не скажу,
в песне, которую я не сложу,
в деле, которому не послужу...
в пуле, которую не заслужу?...

1962

ДВА ВЕЛИКИХ СЛОВА

Не пугайся слова «кровь» —
кровь, она всегда прекрасна,
кровь ярка, красна и страстна,
«кровь» рифмуется с «любовь».

Этой рифмы древний лад!

Разве ты не клялся ею,
самой малостью своею,
чем богат и не богат?

Жар ее неотвратим...

Разве ею ты не клялся
в миг, когда один остался
с вражьей пулей на один?

И когда упал в бою,
эти два великих слова,
словно красный лебедь,
снова

прокричали песнь твою.

И когда пропал в краю
вечных зим,

песчинка словно,

эти два великих слова
прокричали песнь твою.

Мир качнулся.

Но опять

в стуже, пламени и бездне
эти две великих песни
так слились, что не разнять.
И не верь ты докторам,
что для улучшения крови
килограмм сырой моркови
нужно кушать по утрам.

1962

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

– Мой конь притомился.

Стоптались мои башмаки.

Куда же мне ехать?

Скажите мне, будьте добры.

– Вдоль Красной реки, моя радость,

вдоль Красной реки,

до Синей горы, моя радость,

до Синей горы.

– А как мне проехать туда?

Притомился мой конь.

Скажите пожалуйста,

как мне проехать туда?

– На ясный огонь, моя радость,

на ясный огонь,

езжай на огонь, моя радость,

найдешь без труда.

– А где ж этот ясный огонь?

Почему не горит?

Сто лет подпираю я небо ночное плечом...

– Фонарщик был должен зажечь,

да, наверное, спит,

фонарщик-то спит, моя радость...

А я ни при чем.

И снова он едет один

без дороги

во тьму.

Куда же он едет,

ведь ночь подступила к глазам!...

– Ты что потерял, моя радость? —

кричу я ему.

И он отвечает:

– Ах, если б я знал это сам...

1962

КАРАВАЙ

Вы видели, щиток приоткрывая,
в задумчивой и душной глубине
прищуренные глазки каравая,
когда он сам с собой наедине?
Когда очнуться не хватает мочи,
когда румяный край – под цвет зари,
о чем он думает?
О чем бормочет,
ленивые глотая пузыри?
А в нем живут сгоревшие поленья,
старанья мастериц и мастеров.
Он, как последнее стихотворенье,
и добр, и откровенен, и суров.
И задыхается на белом блюде
от радости рожденья своего...
И кланяются караваю люди
и ломтики уносят от него.

1962

ГЛАВНАЯ ПЕСЕНКА

Наверное, самую лучшую
на этой земной стороне
хожу я и песенку слушаю —
она шевельнулась во мне.
Она еще очень неспетая.
Она зелена как трава.
Но чудится музыка светлая,
и строго ложатся слова.
Сквозь время, что мною не пройдено,
сквозь смех наш короткий и плач
я слышу: выводит мелодию
какой-то грядущий трубач.
Легко, необычно и весело
кружит над скрещеньем дорог
та самая главная песенка,
которую спеть я не смог.

1962

СТИХИ БЕЗ НАЗВАНИЯ

Оле

1

Вся земля, вся планета – сплошное «туда».
Как струна,
дорога звонка и туга.
Все, куда бы ни ехали, только – туда,
и никто не сюда. Все – туда и туда.
Остаюсь я один. Вот так. Остаюсь.
Но смеюсь (я признаться боюсь, что боюсь).
Сам себя осуждаю, корю.
И курю.
Вдруг какая-то женщина (сердце горит)...
– Вы куда?! – удивленно я ей говорю.
– Я сюда... – так влюбленно она говорит.
«Сумасшедшая! – думаю. – Вот ерунда...
Как же можно «сюда», когда нужно – «туда»?!»

2

Строгая женщина в строгих очках
мне рассказывает о сверчках,
о том, как они свои скрипки
на протянутых носят руках,
о том, как они понемногу,
едва за лесами забрезжит зима,
берут свои скрипки с собою в дорогу
и являются в наши дома.

Мы берем их пальто, приглашаем к столу
и признательные расточаем улыбки,
но они очень скромно садятся в углу,
извлекают
свои допотопные скрипки,
расправляют
помятые сюртучки,
поднимают
над головами смычки,
распрявляют
свои вдохновенные усики...

что за дом,
если в нем
не пригреты сверчки
и не слышно их музыки!...

Строгая женщина щурится из-под очков,
по столу громоздит угощение...
Вот и я приглашаю заезжих сверчков
за приличное вознаграждение.
Я помятые им вручаю рубли,
их рассаживаю

по чину и званию,
и играют они вечный вальс
по названию:
«Может быть, наконец,
повезет мне в любви...»

3

Я люблю эту женщину.
Очень люблю.
Керамический конь увезет нас постранствовать,
будет нас на ухабах трясти и подбрасывать...
Я в Тарусе ей кружев старинных куплю.
Между прочим,
Таруса стоит над Окой.
Там торгуют в базарные дни земляникою,
не клубникою,
а земляникою,
дикою...
Вы, конечно, еще не встречали такой.
Эту женщину я от тревог излечу
и себя отучу от сомнений и слабости,
и совсем не за радости и не за сладости
я награду потом от нее получу.
Между прочим, земля околдует меня
и ее

и окружит людьми и деревьями,
и, наверно, уже за десятой деревнею
с этой женщиной мы потеряем коня.
Ах, как гладок и холоден был этот конь!
Позабудь про него.
И, как зернышко – в борозду,
ты подкинь-ка, смеясь, августовского хвосту
своей белой пригоршней в красный огонь.
Что ж касается славы, любви и наград...
Где-то ходит, наверно, конь керамический
со своею улыбочкой иронической...
А в костре настоящие сосны горят!

4

Вокзал прощанье нам прокличет,
и свет зеленый расцветет,
и так легко до неприличья
шлагбаум руки разведет.
Не буду я кричать и клясться,
в лицо заглядывать судьбе...
Но дни и версты будут красться
вдоль окон поезда,
к тебе.
И лес, и горизонт далекий,
и жизнь, как паровозный дым,

все – лишь к тебе, как те дороги,
которые
когда-то
в Рим.

1962

МУЗЫКА

Симону Чиковани

Вот ноты звонкие органа
то порознь вступают,
то вдвоем,
и шелковые петельки аркана
на горле
стягиваются
моем.

И музыка передо мной танцует гибко,
и оживает все
до самых мелочей:

пылинки виноватая улыбка
так красит глубину ее очей!

Ночной комар,
как офицер гусарский, тонок,
и женщина какая-то стоит,
прижав к груди стихов каких-то томик,
и на колени падает старик,
и каждый жест велик,
как расстоянье,
и веточка умершая
жива, жива...

И стыдно мне за мелкие мои
старанья

и за
непоправимые слова.
...Вот сила музыки.
Едва ли
поспоришь с ней бездумно и легко,
как будто трубы медные зазвали
куда-то горячо и далеко...
И музыки стремительное тело
плывет,
кричит неведомо кому:
«Куда вы все?!
Да разве в этом дело?!»
А в чем оно? Зачем оно? К чему?!
...Вот черт,
как ничего еще не надоело!

1962



М. Хуциеву

Мы приедем туда, приедем,
проедем – зови не зови —
вот по этим каменистым,
по этим
осыпающимся дорогам любви.
Там мальчишки гуляют, фасоня,
по августу, плавают в нем,
и пахнет песнями и фасолью,
красной солью и красным вином.
Перед чинарою голубою
поет Тинатин в окне,
и моя юность с моей любовью
перемешиваются во мне.
...Худосочные дети с Арбата,
вот мы едем, представь себе,
а арба под нами горбата,
и трава у вола на губе.
Мимо нас мелькают автобусы,
перегаром в лицо дыша...
Мы наездились, мы не торопимся,
мы хотим хоть раз не спеша.
После стольких лет перед бездною,
раскачавшись, как на волнах,

вдруг предстанет, как неизбежное,
путешествие на волах.

И по синим горам, пусть не плавное,
будет длиться через мир и войну
путешествие наше самое главное
в ту неведомую страну.

И потом без лишнего слова,
дней последних не торопя,
мы откроем нашу родину снова,
но уже для самих себя.

1963

ХРАМУЛИ

Храмули – серая рыбка с белым брюшком.
А хвост у нее как у кильки,
а нос – пирожком.
И чудится мне, будто брови ее взметены
и к сердцу ее все на свете крючки сведены.
Но если взглядеться в извилины жесткого дна —
счастливой подковкою там шевелится она.
Но если всмотреться в движение чистой струи —
она как обрывок еще не умолкшей струны.
И если внимательно вслушаться, оторопев, —
у песни бегущей воды эта рыбка – припев.
На блюде простом, пересыпана пряной травой,
лежит и кивает она голубой головой.
И нужно достойно и точно ее оценить,
как будто бы первой любовью себя осенить.
Потоньше, потоньше колите на кухне дрова,
такие же тонкие, словно признаний слова!
Представьте, она понимает призыванье свое:
и громоподобные пиршества не для нее.
Ей тосты смешны, с позолотою вилки смешны,
ей четкие пальцы и теплые губы нужны.
Ее не едят, а смакуют в вечерней тиши,
как будто беседуют с ней о спасенье души.

1963

ПОСЛЕДНИЙ МАНГАЛ

Тамазу Чиладзе

Джансугу Чарквиани

Когда под хохот Куры и сплетни,
в холодной выпачканный золе,
вдруг закричал мангал последний,
что он последний на всей земле,
мы все тогда над Курой сидели
и мясо сдабривали вином,
и два поэта в обнимку пели
о трудном счастье, о жестяном.
А тот мангал, словно пес – на запах
орехов, зелени, бастурмы,
качаясь, шел на железных лапах
к столу, за которым сидели мы.
И я клянусь вам, что я увидел,
как он в усердьи своем простом,
как пес, которого мир обидел,
присел и вильнул жестяным хвостом.
Пропахший зеленью, как духами,
и шашлыками еще лютей,
он, словно свергнутый бог,
в духане
с надеждой слушал слова людей...
...Поэты плакали. Я смеялся.

Стакан покачивался в руке.
И современно шипело мясо
на электрическом
очаге.

1963

ФРЕСКИ

1. ОХОТНИК

Спасибо тебе, стрела,
спасибо, сестра,
что так ты кругла
и остра,
что оленю в горячий бок
входишь, как бог!
Спасибо тебе за твое уменье,
за чуткий сон в моем колчане,
за оперенье,
за тихое пенье...
Дай тебе бог воротиться ко мне!
Чтоб мясу быть жирным на целую треть,
чтоб кровь была густой и липкой,
олень не должен предчувствовать смерть...
Он должен
умереть
с улыбкой.
Когда окончится день,
я поклонюсь всем богам...
Спасибо тебе, Олень,
твоим ветвистым рогам,

мясу сладкому твоему,
побуревшему в огне и в дыму...
О Олень, не дрогнет моя рука,
твой дух торопится ко мне под крышу...
Спасибо, что ты не знаешь моего языка
и твоих проклятий я не расслышу.
О, спасибо тебе, расстояние, что я
не увидел оленьих глаз,
когда он угас!...

2. ГОНЧАР

Красной глины беру прекрасный ломоть
и давить начинаю его, и ломать,
плоть его мять,
и месить,
и молоть...
И когда остановится гончарный круг,
на красной чашке качнется вдруг
желтый бык – отпечаток с моей руки,
серый аист, пьющий из белой реки,
черный нищий,
поющий последний стих,
две красотки зеленых, пять рыб голубых...
Царь, а царь,
это рыбы раба твоего,

бык раба твоего...
Больше нет у него ничего.
Черный нищий, поющий во имя его,
от обид обалдевшего
раба твоего.
Царь, а царь,
хочешь, будем вдвоем рисковать:
ты башкой рисковать, я тебя рисовать?
Вместе будем с тобою
озоровать:
бога – побоку,
бабу – под бок, на кровать?!
Царь, а царь,
когда ты устанешь из золота есть,
вели себе чашек моих принести,
где желтый бык —
отпечаток с моей руки,
серый аист, пьющий из белой реки,
черный нищий, поющий последний стих,
две красотки зеленых,
пять рыб голубых...

3. РАБ

Один шажок
и другой шажок,

а солнышко село...
О господин,
вот тебе стожок
и другой стожок
доброго сена!
И все стога
(ты у нас один)
и колода меда...
Пируй, господин,
до нового года!
Я амбар —
тебе,
а пожар —
себе...
Я рвань,
я дрянь,
меня жалеть опасно.
А ты живи праздно:
сам ешь,
не давай никому...
Пусть тебе – прекрасно,
госпоже – прекрасно,
холуям – прекрасно,
а плохо пусть —
топору твоему!

МАРТ ВЕЛИКОДУШНЫЙ

У отворенных
у ворот лесных,
откуда пахнет сыростью,
где звуки
стекают по стволам,
стоит лесник,
и у него —
мои глаза и руки.
А лесу платья старые тесны.
Лесник качается
на качкой кочке
и все старается не прозевать весны
и первенца принять у первой почки.
Он наклоняется – помочь готов,
он вслушивается,
лесник тревожный,
как надрывается среди стволов
какой-то стебелек неосторожный.
Давайте же не будем обижать
сосновых бабок и еловых внучек,
пока они друг друга учат,
как под открытым небом
март рожать!
Все снова выстроить – нелегкий срок,

как зиму выстоять, хоть и знакома...

И почве выстрелить свой стебелек,
как рамы выставить хозяйке дома...

...Лес не кончается.

И под его рукой
лесник качается, как лист послушный...

Зачем отчаиваться,
мой дорогой?

Март намечается
великодушный!

1963

КРАСНЫЕ ЦВЕТЫ

Ю. Домбровскому

Срываю красные цветы.
Они стоят на красных ножках.
Они звенят, как сабли в ножнах,
и пропадают, как следы...
О эти красные цветы!
Я от земли их отрываю.
Они как красные трамваи
среди полдневной суеты.
Тесны их задние площадки —
там две пчелы,
как две пилы,
жужжат,
добры и беспощадны,
забившись в темные углы.
Две женщины на тонких лапках.
У них кошелки в свежих латках,
но взгляды слишком старомодны,
и жесты слишком благородны,
и помыслы их так чисты!...
О эти красные цветы!
Их стебель почему-то колет,
Они, как красные быки,
идут толпою к водопою,

у каждого над головою
рога сомкнулись, как венки...
Они прекрасны, как полки,
остры их красные штыки,
портянки выстираны к бою.
У командира в кулаке —
цветок на красном стебельке...
Он машет им перед собою.
Качается цветок в руке,
как память о живом быке,
как память о самом цветке,
как памятник поре походной,
как монумент пчеле безродной,
той,
благородной,
старомодной,
летать привыкшей налегке...
Срываю красные цветы.
Они еще покуда живы.
Движения мои учтивы,
решения неторопливы,
и помыслы мои
чисты...

ЭТА КОМНАТА

К. Г. Паустовскому

Люблю я эту комнату,
где розовеет вереск
в зеленом кувшине.

Люблю я эту комнату,
где проживает ересь
с богами наравне.

Где в этом, только в этом
находят смысл

и ветром

смывают гарь и хлам,

где остро пахнет веком

четырнадцатым

с веком

двадцатым пополам.

Люблю я эту комнату
без драм и без расчета...

И так за годом год

люблю я эту комнату,

что, значит, в этом что-то,

наверно, есть, но что-то —

и в том, чему черед.

Где дни, как карты, смешивая —
грядущий и начальный,

что жив и что угас, —
я вижу как насмешливо,
а может быть, печально
глядит она на нас.

Люблю я эту комнату,
где даже давний берег
так близок – не забыть...

Где нужно мало денег,
чтобы счастливым быть.

1963

ПЕСЕНКА О НОЧНОЙ МОСКВЕ

Б.А.

Когда внезапно возникает
еще неясный голос труб,
слова, как ястребы ночные
срываются с горячих губ,
мелодия, как дождь случайный,
гремит; и бродит меж людьми
надежды маленький оркестрик
под управлением любви.
В года разлук, в года сражений,
когда свинцовые дожди
лупили так по нашим спинам,
что снисхождения не жди,
и командиры все охрипли...
он брал команду над людьми,
надежды маленький оркестрик
под управлением любви.
Кларнет пробит, труба помята,
фагот, как старый посох, стерт,
на барабане швы разлезлись...
Но кларнетист красив как черт!
Флейтист, как юный князь, изящен...
И вечно в стоворе с людьми
надежды маленький оркестрик

под управлением любви.

1963

ПИСЬМО АНТОКОЛЬСКОМУ

Здравствуйте, Павел Григорьевич!
Всем штормам вопреки,
пока конфликты улаживаются и рушатся
материки,
крепкое наше суденышко летит по волнам
стрелой,
и его добротное тело пахнет свежей смолой.
Работа наша матросская
призывает бодрствовать нас,
хоть вы меня и постарше, а я помоложе вас
(а может быть, вы моложе, а я
немного старей)...
Ну что нам все эти глупости?
Главное – плыть поскорей.
Киплинг, как леший, в морскую дудку
насвистывает без конца,
Блок над картой морей просиживает,
не поднимая лица,
Пушкин долги подсчитывает,
и, от вечной петли спасен,
в море вглядывается с мачты
вор Франсуа Вийон!
Быть может, завтра меня матросы
под бульканье якорей

высадят на одинокий остров
с мешком гнилых сухарей,
и рулевой равнодушно встанет
за штурвальное колесо
и кто-то выругается сквозь зубы
на прощанье мне в лицо.
Быть может, все это так и будет.
Я точно знать не могу.
Но лучше пусть это будет в море,
чем на берегу.
И лучше пусть меня судят матросы
от берегов вдали,
чем презирающие море
обитатели твердой земли...
До свидания, Павел Григорьевич!
Нам сдаваться нельзя.
Все враги после нашей смерти
запишутся к нам в друзья.
Но перед бурей всегда надежней
в будущее глядеть...
Самые чистые рубахи велит капитан надеть!

1963

В ГОРОДСКОМ САДУ

Круглы у радости глаза и велики у страха,
и пять морщинок на челе от празднеств и обид...
Но вышел тихий дирижер, но заиграли Баха,
и все затихло, улеглось и обрело свой вид.
Все стало на свои места, едва сыграли Баха...
Когда бы не было надежд —
на черта белый свет?
К чему вино, кино, пшено,
квитанции Госстраха
и вам – ботинки первый сорт, которым
сносу нет?
«Не все ль равно: какой земли касаются
подошвы?
Не все ль равно: какой улов из волн несет
рыбак?
Не все ль равно: вернешься цел
или в бою падешь ты,
и руку кто подаст в беде – товарищ
или враг?...»
О, чтобы было все не так,
чтоб все иначе было,
наверно, именно затем, наверно, потому,
играет будничным оркестр привычно и вполсилы,
а мы так трудно и легко все тянемся к нему.

Ах музыкант мой, музыкант, играешь,
да не знаешь,
что нет печальных и больных и виноватых нет,
когда в прокуренных руках
так просто ты сжимаешь,
ах музыкант мой, музыкант,
черешневый кларнет!

1963

ФРАНСУА ВИЙОН

Пока земля еще вертится,
пока еще ярок свет,
господи, дай же ты каждому
чего у него нет:
мудрому дай голову,
трусливому дай коня,
дай счастливому денег...
И не забудь про меня.
Пока Земля еще вертится, —
господи, твоя власть! —
дай рвущемуся к власти
навластвовать всласть,
дай передышку щедрому
хоть до исхода дня.
Каину дай раскаяние...
И не забудь про меня.
Я знаю: ты все умеешь,
я верую в мудрость твою,
как верит солдат убитый,
что он проживает в раю,
как верит каждое ухо
тихим речам твоим,
как веруем и мы сами,
не ведая, что творим!

Господи мой боже,
зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится,
и это ей странно самой,
пока ей еще хватает
времени и огня,
дай же ты всем понемногу...
И не забудь про меня.

1963

ОСЕНЬ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

Какая царская нынче осень в Царском селе!
Какие красные листья тянутся к черной земле,
какое синее небо и золотая трава,
какие высокопарные хочется крикнуть слова.
Но вот опускается вечер,
и слышится ветер с полей,
и филин рыдает, как Вертер,
над серенькой мышкой своей.
Уже он не первую губит,
не первые вопли слышны.
Он плоть их невинную любит,
а души ему не нужны.
И все же какая царская осень в Царском селе!
Как прижимаются листья лбами к прохладной
земле,
какое белое небо и голубая трава,
какие высокопарные хочется крикнуть слова!

1963

ЗНОЙ

Питер парится. Пора парочкам пускаться в поиск
по проспектам полуночным за прохладой.

Может быть

им пора поторопиться в петергофский
первый поезд,

пекло потное покинуть, на перроне позабыть.

Петухи проголосили, песни поздние погасли.

Прямо перед паровозом проплывают и парят

Павловска перрон пустынный,

Петергофа плен прекрасный,

плеть Петра,

причуды Павла,

Пушкина пресветлый взгляд.

1964

ИЗ ОКНА ВАГОНА

Низкорослый лесок по пути в Бузулук,
весь похожий на пыльную армию леших —
пеших,

песни лихие допевших,

сбивших ноги,

продрогших,

по суткам не евших

и застывших,

как будто в преддверье разлук.

Их седой командир, весь в коросте и рвани,

пишет письма домой на глухом барабане,

позабыв все слова, он марает листы.

Истрепались знамена, карманы пусты,

ординарец безумен,

денщик безобразен...

Как пейзаж поражения однообразен!

Или это мелькнул за окном балаган,

где бушует уездных страстей ураган,

где играют безвестные комедианты,

за гроши продавая судьбу и таланты,

сами судьи и сами себе музыканты...

Их седой режиссер, обалдевший от брани,

пишет пьеску на порванном вдрызг барабане,

позабыв все слова, он марает листы,

декорации смяты,
карманы пусты,
Гамлет глух,
и Ромео давно безобразен...
Как сюжет нашей памяти однообразен!

1964

ОДНА МОРКОВЬ С ЗАБРОШЕННОГО ОГОРОДА

Мы сидим, пехотные ребята.
Позади – разрушенная хата.
Медленно война уходит вспять.
Старшина нам разрешает спать.
И тогда
(откуда – неизвестно,
или голод мой тому виной),
словно одинокая невеста,
выросла она передо мной.
Я киваю головой соседям:
на сто ртов
одна морковь – пустяк...
Спим мы или бредим?
Спим иль бредим?
Веточки ли в пламени хрустят?
...Кровь густая капает из свеклы,
лук срывает бранный свой наряд,
десять пальцев,
словно десять свекров,
над одной морковинкой стоят...
Впрочем, ничего мы не варили,
свекла не алела, лук не пах.
Мы морковь по-братски разделили,

и она хрустела на зубах.
Шла война, и кровь текла рекою.
В грозной битве рота полегла.
О природа, ты ж одной морковью
словно мать насытить нас смогла!
И наверно, уцелела б рота,
если б в тот последний грозный час
ты одной любовью, о природа,
словно мать
насытила бы нас!

1964

ВРЕМЕНА

Нынче матери все
словно заново
всех своих милых детей полюбили.
Раньше тоже любили,
но больше их хлебом корили,
сильнее лупили.
Нынче, как сухари,
и любовь, и восторг, и тревогу,
и преданность копят...
То ли это инстинкт,
то ли слабость души,
то ли сам исторический опыт?
Или в воздухе нашем само по себе
развивается что-то такое,
что прибавило им суетливой любви
и лишило отныне покоя?
Или, ждая отказавшись, теперь за собой
оставляют последнее слово
и неистово жаждут прощать, возносить
и творить чудеса за кого-то другого?
Что бы ни было там,
как бы ни было там
и чему бы нас жизнь ни учила,
в нашем мире цена на любовь да на ласку

опять высоко подскочила.
И когда худосочные их сыновья
лгут, преследуют кошек,
наводняют базары,
матерям-то не каины видятся – авели,
не дедалы – икары!
И мерещится им
сквозь сумбур сумасбродств
дочерей современных,
сквозь гнев и капризы
то печаль Пенелопы,
то рука Жанны д'Арк,
то задумчивый лик Монны Лизы.
И слезами полны их глаза,
и высоко прекрасные вскинуты брови.
Так что я и представить себе не могу
ничего,
кроме этой любви!

ПРОЩАНИЕ С ОСЕНЬЮ

Осенний холодок. Пирог с грибами.

Калитки шорох и простывший чай.

И снова

неподвижными губами

короткое, как вздох:

«Прощай, прощай...»

«Прощай, прощай...»

Да я и так прощаю

все, что простить возможно,

обещаю

и то простить, чего нельзя простить.

Великодушным я обязан быть.

Прощаю всех, что не были убиты

тогда, перед лицом грехов своих.

«Прощай, прощай...»

Прощаю все обиды,

обеда у обидчиков моих.

«Прощай...»

Прощаю, чтоб не вышло боком.

Сосуд добра до дна не исчерпать.

Я чувствую себя последним богом,

единственным умеющим прощать.

«Прощай, прощай...»

Старания упрямы

(знать, мне лишь не простится одному),
но горести моей прекрасной мамы
прощаю я неведомо кому.

«Прощай, прощай...» Прощаю,
не смущаю
угрозами,
надежно их таю.

С улыбкою, размашисто прощаю,
как пироги, прощенья раздаю.

Прощаю побелевшими губами,
пока не повторится все опять —
осенний горький чай, пирог с грибами
и поздний час —
прощаться и прощать.

1964



То падая, то снова нарастая,
как маленький кораблик на волне,
густую грусть шарманка городская
из глубины двора дарила мне.
И вот, уже от слез на волосок,
я слышал вдруг, как раздавался четкий
свихнувшейся какой-то нотки
веселый и счастливый голосок.
Пускай охватывает нас смятением
несоответствие мехов тугих,
но перед наводнением смертельным
все хочет жить.
И нету прав других.
Все ухищрения и все уловки
не дали ничего взамен любви...
...Сто раз я нажимал курок винтовки,
а вылетали только соловьи.

МОЙ КАРАНДАШНЫЙ ПОРТРЕТ

Шуршат, шуршат карандаши
за упокой живой души.
Шуршат, не нашуршатся,
а вскрикнуть не решатся.
А у меня горит душа,
но что возьмешь с карандаша:
он правил не нарушит
и душу мне потушит.
...Последний штрих, и вот уже
я выполнен в карандаше,
мой фас увековечен...
Но бушевать мне нечем,
и жилка не стучит в висок,
хоть белый лоб мой так высок,
и я гляжу бесстрастно
куда-то все в пространство.
Как будет назван тот портрет?
«Учитель»,
«Каменщик»,
«Поэт»,
«Немой свидетель века»?...
Но мне ли верить в это?
Я смертен. Я горю в огне.
Он вечен в рамке на стене

и премией отмечен...
...да плакать ему
нечем.

1964



Ярославу Смелякову

В детстве мне встретился как-то кузнечик
в дебрях колючек, трав и осок.

Прямо с колючек, словно с крылечек,
спрыгивал он как танцор на носок,
передо мною маячил мгновенье
и исчезал иноходцем в траве...

Может быть, первое стихотворенье
зрело в зеленой его голове.

– Намереваюсь! – кричал тот кузнечик.

– Может ли быть? – усмехался сверчок.

Из-за досок, из щелей, из-за печек
крался насмешливый этот басок.

Но из-за речек, с лугов отдаленных:

– Намереваюсь! – как песня, как гром...

Я их встречал, голубых и зеленых.

Печка и луг им служили жильем.

Печка и Луг – разделенный на части
счастья житейского замкнутый круг,

к чести его обитателей частых,

честных, не праздных, как Печка и Луг,

маленьких рук постоянно стремленье,

маленьких мук постоянна волна...

Пламени этого столпотворенье

ни успокоят ни мир, ни война,
ни уговоры его не излечат,
ни приговоры друзей и врагов...
– Может ли быть?! – как всегда из-за печек.
– Намереваюсь! – грохочет с лугов.
Годы прошли, да похвастаться нечем.
Те же дожди, те же зимы и зной.
Прожита жизнь, но все тот же кузнечик
пляшет и кружится передо мной.
Гордый бессмертьем своим непреклонным,
мировоззреньем своим просветленным,
скачет, куражится, ест за двоих...
Но не молчит и сверчок тот бессонный.
Все усмехается.
Что мы для них?

1964

ФОТОГРАФИИ ДРУЗЕЙ

Деньги тратятся и рвутся,
забываются слова,
приминается трава,
только лица остаются
и знакомые глаза...
Плачут ли они, смеются —
не слышны их голоса.
Льются с этих фотографий
океаны биографий,
жизнь в которых вся, до дна
с нашей переплетена.
И не муки и не слезы
остаются на виду,
и не зависть и беду
выражают эти позы,
не случайный интерес
и не сожаленья снова...
Свет – и ничего другого,
век – и никаких чудес.
Мы живых их обнимаем,
любим их и пьем за них...
...только жаль, что понимаем
с опозданием на миг!

1964



Мгновенно слово. Короток век.
Где ж умещается человек?
Как, и когда, и в какой глуши
распускаются розы его души?
Как умудряется он успеть
свое промолчать и свое пропеть,
по планете просеменить,
гнев на милость переменить?
Как умудряется он, чудак,
на ярмарке
поцелуев и драк,
в славословии и пальбе
выбрать только любовь себе?
Осколок выплеснет его кровь:
«Вот тебе за твою любовь!»
Пощечины перепадут в раю:
«Вот тебе за любовь твою!»
И все ж умудряется он, чудак,
на ярмарке
поцелуев и драк,
в славословии
и гульбе
выбрать только любовь себе!

1964

КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ

Вл. Мотылю

В раннем детстве верил я,
что от всех болезней
капель Датского короля
не найти полезней.
И с тех пор горит во мне
огонек той веры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!
Капли Датского короля
или королевы —
это крепче, чем вино,
слаще карамели
и сильнее клеветы,
страха и холеры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!
Рев орудий, посвист пуль,
звон штыков и сабель
растворяются легко
в звоне этих капель,
солнце, май, Арбат, любовь —
выше нет карьеры...
Капли Датского короля

пейте, кавалеры!
Слава головы кружит,
власть сердца щекочет.
Грош цена тому, кто встать
над другим захочет.
Укрепляйте организм,
принимайте меры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!
Если правду прокричать
вам мешает кашель,
не забудьте отхлебнуть
этих чудных капель.
Перед вами пусть встают
прошлого примеры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

1964

КАК НАУЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ

Если ты хочешь стать живописцем,
ты рисовать не спеши.

Разные кисти из шерсти барсучьей
перед собой разложи,

белую краску возьми, потому что
это – начало, потом

желтую краску возьми, потому что
все созревает, потом

серую краску возьми, чтобы осень
в небо плеснула свинец,

черную краску возьми, потому что
есть у начала конец,

краски лиловой возьми пощедрее,
смейся и плачь, а потом

синюю краску возьми, чтобы вечер
птицей слетел на ладонь,

красную краску возьми, чтобы пламя
затрепетало, потом

краски зеленой возьми, чтобы веток
в красный подбросить огонь.

Перемешай эти краски, как страсти,
в сердце своем, а потом

перемешай эти краски и сердце
с небом, с землей, а потом...

Главное – это сгорать и, сгорая,
не сокрушаться о том.
Может быть, кто и осудит сначала,
но не забудет потом!

1964



На арбатском дворе – и веселье и смех.
Вот уже мостовые становятся мокрыми.
Плачьте, дети!
Умирает мартовский снег.
Мы устроим ему
веселые похороны.
По кладовкам по темным поржавеют коньки,
позабытые лыжи
по углам покоробятся...
Плачьте, дети!
Из-за белой реки
скоро-скоро кузнечики к нам заторопятся.
Будет много кузнечиков. Хватит на всех.
Вы не будете, дети,
гулять в одиночестве...
Плачьте, дети!
Умирает мартовский снег.
Мы ему воздадим генеральские почести.
Заиграют грачи над его головой,
грохнет лед на реке в лиловые трещины...
Но останется снежная баба вдовой...
Будьте, дети, добры и внимательны
к женщине.

1964

ПЕСЕНКА О ХУДОЖНИКЕ ПИРОСМАНИ

Николаю Грицюку

Что происходит с нами,
когда мы смотрим сны?
Художник Пиросмани
выходит из стены,
из рамок примитивных,
из всякой суеты
и продает картины
за порцию еды.
Худы его колени
и насторожен взгляд,
но сытые олени
с картин его глядят,
красотка Маргарита
в траве густой лежит,
а грудь ее открыта —
там родинка дрожит.
И вся земля ликует,
пирует и поет,
и он ее рисует
и Маргариту ждет.
Он жизнь любил не скупю,

как видно по всему...

Но не хватило супа

на всей земле

ему.

1964

ГРИБОЕДОВ В ЦИНАНДАЛИ

Цинандальского парка осенняя дрожь.
Непредвиденный дождь. Затяжной.
В этот парк я с недавнего времени вхож —
мы почти породнились с княжной.
Петухи в Цинандали кричат до зари:
то ли празднуют, то ли грустят...
Острословов очкастых не любят цари, —
бог простит, а они не простят.
Петухи в Цинандали пророчат восход,
и под этот заманчивый крик
Грибоедов, как после венчанья, идет
по Аллее Любви напрямик,
словно вовсе и не было дикой толпы
и ему еще можно пожить,
словно и не его под скрипенье арбы
на Мтацминду везли хоронить;
словно женщина эта – еще не вдова,
и как будто бы ей ни к чему
на гранитном надгробьи проплакать слова
смерти, горю, любви и уму;
словно верит она в петушиный маневр,
как поэт торопливый – в строку...
Нет, княжна, я воспитан на лучший манер,
и солгать вам, княжна, не могу,

и прощения прошу за неловкость свою...
Но когда б вы представить могли,
как прекрасно упасть, и погибнуть в бою,
и воскреснуть, поднявшись с земли!
И, срывая очки, как винтовку с плеча,
и уже позабыв о себе,
прокричать про любовь навсегда, сторяча
прямо в рожу орущей толпе!...
...Каждый куст в парке княжеском
мнит о себе.
Но над Персией – гуще гроза.
И спешит Грибоедов навстречу судьбе,
близоруко прищунив глаза.

1965

ВСТРЕЧА

Кайсыну Кулиеву

Насмешливый, тщедушный и неловкий,
единственный на этот шар земной,
на Усачевке, возле остановки,
вдруг Лермонтов возник передо мной,
и в полночи рассеянной и зыбкой
(как будто я о том его спросил)
– Мартынов – что... —
он мне сказал с улыбкой. —
Он невиновен.
Я его простил.
Что – царь? Бог с ним. Он дожил до могилы.
Что – раб?... Бог с ним. Не воин он один.
Царь и холоп – две крайности, мой милый.
Нет ничего опасней средин.
Над мрамором, венками перевитым,
убийцы стали ангелами вновь.
Удобней им считать меня убитым:
венки всегда дешевле, чем любовь.
Как дети, мы все забываем быстро,
обидчикам не помним мы обид,
и ты не верь, не верь в мое убийство:
другой поручик был тогда убит.
Что – пистолет?... Страшна рука дрожащая,

тот пистолет растерянно держащая,
особенно тогда она страшна,
когда сто раз пред тем была нежна...
Но, слава богу, жизнь не оскудела,
мой Демон продолжает тосковать,
и есть еще на свете много дела,
и нам с тобой нельзя не рисковать.
Но, слава богу, снова паутинки,
и бабье лето тянется на юг,
и маленькие грустные грузинки
полжизни за улыбки отдают,
и суждены нам новые порывы,
они скликают нас наперебой...
Мой дорогой, пока с тобой мы живы,
все будет хорошо у нас с тобой...

1965

ЦИРК

Юрию Никулину

Цирк – не парк, куда вы входите
грустить и отдыхать.
В цирке надо не высиживать,
а падать и взлетать,
и под куполом,
под куполом,
под куполом скользя,
ни о чем таком сомнительном
раздумывать нельзя.
Все костюмы наши праздничные —
смех и суета.
Все улыбки наши пряничные
не стоят ни черта
перед красными султанами
на конских головах,
перед лицами,
таящими надежду, а не страх.
О Надежда,
ты крылатое такое существо!
Как прекрасно
твое древнее святое вещество:
даже, если вдруг потеряна
(как будто не была),

как прекрасно ты распахиваешь
два своих крыла
над манежем
и над ярмаркою праздничных одежд,
над тревогой завсегдатаев,
над ужасом невежд,
похороненная заживо,
являешься опять
тем,
кто жаждет не высиживать,
а падать и взлетать.

1965



Надежда, белою рукою
сыграй мне что-нибудь такое,
чтоб краска схлынула с лица,
как будто кони от крыльца.
Сыграй мне что-нибудь такое,
чтоб ни печали, ни покоя,
ни нот, ни клавиш и ни рук...
О том, что я несчастен,
врут.
Еще нам плакать и смеяться,
но не смиряться,
не смиряться.
Еще не пройден тот подъем.
Еще друг друга мы найдем...
Все эти улицы —
как сестры.
Твоя игра – их голос пестрый,
их каблучков полночный стук...
Я жаден до всего вокруг.
Ты так играешь, так играешь,
как будто медленно сгораешь.
Но что-то есть в твоём огне,
еще неведомое мне.

1965

ПРОЩАНИЕ С НОВОГОДНЕЙ ЕЛКОЙ

Синяя крона, малиновый ствол,
звяканье шишек зеленых.
Где-то по комнатам ветер прошел:
там поздравляли влюбленных.
Где-то он старые струны задел —
тянется их переключка...
Вот и январь накатил-налетел,
бешеный как электричка.
Мы в пух и прах наряжали тебя,
мы тебе верно служили.
Громко в картонные трубы трубя,
словно на подвиг спешили.
Даже поверилось где-то на миг
(знать, в простодушьи сердечном):
женщины той очарованный лик
слит с твоим празднеством вечным.
В миг расставания, в час платежа,
в день увяданья недели
чем это стала ты нехороша?
Что они все, одурели?!
И утонченные как соловьи,
гордые, как гренадеры,
что же надежные руки свои

прячут твои кавалеры?
Нет бы собраться им – время унять,
нет бы им всем – расстараться...
Но начинают колеса стучать:
как тяжело расставаться!
Но начинается вновь суета.
Время по-своему судит.
И в суете тебя сняли с креста,
и воскресенья не будет.
Ель моя, Ель – уходящий олень,
зря ты, наверно, старалась:
женщины той осторожная тень
в хвое твоей затерялась!
Ель моя, Ель, словно Спас-на-крови,
твой силуэт отдаленный,
будто бы след удивленной любви,
вспыхнувшей, неуголенной.

1966

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАМЯТИ

Анатолию Рыбакову

Не помню зла, обид не помню,
ни громких слов,
ни малых дел
и ни того, что я увидел,
и ни того, что проглядел.
Я все забыл, как днище вышиб
из бочки века своего.
Я выжил.
Я из пекла вышел.
Там не оставил ничего.
Теперь живу посередине
между войной и тишиной,
грехи приписываю богу,
а доблести – лишь Ей одной.
Я не оставил там ни боли,
ни пепла, ни следов сапог,
и только глаз мой карий-карий
блуждает там, как светлячок.
Но в озаренье этом странном,
в сиянье вещем светляка
счастливые бывшие люди
мне чудятся издалека:
высокий хор поет с улыбкой,

земля от выстрелов дрожит,
сержант Петров, поджав коленки,
как новорожденный лежит.

1967

ГРУЗИНСКАЯ ПЕСНЯ

М. Квливидзе

Виноградную косточку в теплую землю зарюю,
и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,
и друзей созову,
на любовь свое сердце настрою...

А иначе зачем на земле этой вечной живу?
Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощенье,
говорите мне прямо в лицо,
кем пред вами слыву,
царь небесный пошлет мне прощенье
за прегрешенья...

А иначе зачем на земле этой вечной живу?
В темно-красном своем
будет петь для меня моя Дали,
в черно-белом своем
преклоню перед нею главу,
и заслушаюсь я,
и умру от любви и печали...

А иначе зачем на земле этой вечной живу?
И когда заklubится закат,
по углам залетая,
пусть опять и опять предо мною
плывут наяву
синий буйвол,

и белый орел,
и форель золотая...
А иначе зачем
на земле этой вечной живу?

1967

ПЕСЕНКА О ДАЛЬНОЙ ДОРОГЕ

Б. Золотухину

Забудешь первый праздник и позднюю утрату,
когда луны колеса
затренькают по тракту,
и силуэт совиный склонится с облучка,
и прямо в душу грянет
простой романс сверчка.
Пускай глядит с порога красotka, увядая,
та гордая, та злая, слепая и святая...
Что – прелесть ее ручек? Что – жар ее перин?
Давай, брат, отрешимся.
Давай, брат, воспарим.
Жена, как говорится, найдет себе другого,
какого-никакого, как ты, недорогого.
А дальняя дорога дана тебе судьбой,
как матушкины слезы всегда она с тобой.
Покуда ночка длится, покуда бричка катит,
дороги этой дальней на нас обоих хватит.
Зачем ладонь с повинной ты на сердце кладешь?
Чего не потеряешь – того, брат, не найдешь.
От сосен запах хлебный,
от неба свет целебный,
а от любви бедной сыночек будет бледный,
а дальняя дорога...

а дальняя дорога...

а дальняя дорога...

1967

СТАРИННАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЕСНЯ

Поднявший меч на наш союз
достоин будет худшей кары,
и я за жизнь его тогда
не дам и ломаной гитары.
Как вожделенно жаждет век
нащупать брешь у нас в цепочке...
Возьмемся за руки, друзья,
чтоб не пропасть поодиночке.
Среди совсем чужих пиров
и слишком ненадежных истин,
не дожидаясь похвалы,
мы перья белые почистим.
Пока безумный наш султан
сулит нам дальнюю дорогу,
возьмемся за руки, друзья,
возьмемся за руки, ей-богу.
Когда ж придет дележки час,
хлеб дармовой не нас поманит,
и рай настанет не для нас,
зато Офелия помянет.
Пока ж не грянула пора
нам отпрапляться понемногу,
возьмемся за руки, друзья,

возьмемся за руки, ей-богу.

1967



П. Луспекаеву

Ваше благородие, госпожа разлука,
мне с тобою холодно, вот какая штука.

Письмецо в конверте
погоди – не рви...

Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

Ваше благородие госпожа чужбина,
жарко обнимала ты, да мало любила.

В шелковые сети
постой – не лови...

Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

Ваше благородие госпожа удача,
для кого ты добрая, а кому иначе.

Девять граммов в сердце
постой – не зови...

Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

Ваше благородие госпожа победа,
значит, моя песенка до конца не спета!

Перестаньте, черти,
клясться на крови...

Не везет мне в смерти,

повезет в любви.

1967

ПЕСЕНКА О МОЦАРТЕ

И.Б.

Моцарт на старенькой скрипке играет.

Моцарт играет, а скрипка поет.

Моцарт отечества не выбирает —
просто играет всю жизнь напролет.

Ах, ничего, что всегда, как известно,
наша судьба – то гульба, то пальба...

Не оставляйте стараний, маэстро,
не убирайте ладони со лба.

Где-нибудь на остановке конечной
скажем спасибо и этой судьбе,
но из грехов своей родины вечной
не сотворить бы кумира себе.

Ах, ничего, что всегда, как известно,
наша судьба – то гульба, то пальба...

Не расставайтесь с надеждой, маэстро,
не убирайте ладони со лба.

Коротки наши лета молодые:

миг —

и развеются, как на кострах,
красный камзол, башмаки золотые,
белый парик, рукава в кружевах.

Ах, ничего, что всегда, как известно,
наша судьба – то гульба, то пальба...

Не обращайтесь вниманья, маэстро,
не убирайте ладони со лба.

1969

РОМАНС

Арбатского романса знакомое шитье,
к прогулкам в одиночестве пристрастье;
из чашки запотевшей счастливое питье
и женщины рассеянное «здрасьте»...
Не мучьтесь понапрасну: она ко мне добра.
Светло иль грустно – век почти что прожит.
Поверьте, эта дама из моего ребра,
и без меня она уже не может.
Бывали дни такие – гулял я молодой,
глаза глядели в небо голубое,
еще был не разменен мой первый золотой,
пылали розы, гордые собою.
Еще моя походка мне не была смешна,
еще подошвы не поотрывались,
за каждым поворотом, где музыка слышна,
какие мне удачи открывались!
Любовь такая штука: в ней так легко пропасть,
зарыться, закружиться, затеряться...
Нам всем знакома эта возвышенная страсть,
поэтому нет смысла повторяться.
Не мучьтесь понапрасну: всему своя пора.
Траву взрастите – к осени сомнется.
Вы начали прогулку с арбатского двора,
к нему-то все, как видно, и вернется.

Была бы нам удача всегда из первых рук,
и как бы там ни холило, ни било,
в один прекрасный полдень оглянетесь вокруг,
и все при вас, целехонько, как было:
арбатского романса знакомое шитье,
к прогулкам в одиночестве пристрастье,
из чашки запотевшей счастливое питье
и женщины рассеянное «здрасьте»...

1969



Владлену Ермакову

Тот самый двор, где я сажал березы,
был создан по законам вечной прозы
и образцом дворов арбатских слыл:
там, правда, не выращивались розы,
да и Гомер туда не заходил...
Зато поэт Глазков напротив жил.
Друг друга мы не знали совершенно,
но, познавая белый свет блаженно,
попеременно – снег, дожди и сушь,
разгулы будней и подъездов глушь,
и мостовых дыханье,
неизменно
мы ощущали близость наших душ.
Ильинку с Божедомкою, конечно,
не в наших нравах предавать поспешно,
и Усачевку, и Охотный ряд...
Мы с ними слиты чисто и безгрешно,
как с нашим детством – сорок лет подряд;
мы с детства их пророки...
Но Арбат!
Минувшее тревожно забывая,
на долголетье втайне уповая,
все медленней живем, все тяжелей...

Но песня тридцать первого трамвая
с последней остановкой у Филей
звучит в ушах, от нас не отставая.
И если вам, читатель торопливый,
он не знаком, тот гордый, сиротливый,
извилистый, короткий коридор
от ресторана «Прага» до Смоляги,
и рай, замаскированный под двор,
где все равны:
и дети и бродяги,
спешите же...
Все остальное – вздор.

1970

ПРИЕЗЖАЯ СЕМЬЯ ФОТОГРАФИРУЕТСЯ У ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ

На фоне Пушкина снимается семейство.
Фотограф щелкает, и птичка вылетает.
Фотограф щелкает,
но вот что интересно:
на фоне Пушкина!
И птичка вылетает.
Все счета кончены, и кончены все споры.
Тверская улица течет,
куда не знает.
Какие женщины на нас кидают взоры
и улыбаются...
И птичка вылетает.
На фоне Пушкина снимается семейство.
Как обаятельны
(для тех, кто понимает)
все наши глупости и мелкие злодеяства
на фоне Пушкина!
И птичка вылетает.
Мы будем счастливы
(благодаренье снимку!).
Пусть жизнь короткая проносится и тает.

На веки вечные мы все теперь в обнимку
на фоне Пушкина!
И птичка вылетает.

1970



Зачем торопится в Сибирь поэт Горбовский?
Чтоб делать там
с души своей наброски.
Под ребрами, в таинственной глуши,
отчаиваясь и надеясь сладко,
как разноцветные карандаши,
она истаивает без остатка.
Покуда мир совсем не перешит,
ее бродячий скарб увязан снова.
Все плачет в ней,
ликует, верещит,
безумствует
и просит слова.
Что она, боже, делает с собой!
То красным коршуном она забьется,
то нежностью зальется голубой,
то черною слезою вдруг прольется...
Пока асфальт холодный топчем мы,
все то же повторяя, как по нотам,
он дожидается конца зимы
и улетает со своим блокнотом
туда, где дни, как вольные стрелки,
чем безвозвратней —
тем сильнее...

Там лучше ловятся
слова
в силки,
а сердцу там вольнее и больнее...
Дуй, паровоз, в трубу, свисти в свисток,
пугай прохожих старомодным ликом.
Спешу, лошадка,
торопись, ездок...
Эй, женщины, не поминайте лихом!

1970

СЧИТАЛОЧКА ДЛЯ БЕЛЛЫ

Я сидел в апрельском сквере.
Предо мной был божий храм.
Но не думал я о вере,
я глядел на разных дам.
И одна, едва пахнуло
с несомненностью весной,
вдруг на веточку вспорхнула
и уселась предо мной.
В модном платьице коротком,
в старомодном пальтеце,
и ладонь – под подбородком,
и загадка на лице.
В той поре, пока безвестной,
обозначенной едва:
то ли поздняя невеста,
то ли юная вдова.
Век мой короток – не жалко,
он длинней и ни к чему...
Но она петербуржанка
и бессмертна посему.
Шли столетья по России,
бил надежды барабан.
Не мечи людей косили —
слава, золото и обман.

Что ни век – все те же нравы,
ухищренья и дела...

А Она вдали от славы
на Васильевском жила.

Знала счет шипам и розам
и безгрешной не слыла.

Всяким там метаморфозам
не подвержена была...

Но когда над Летним садом
возносила луна,

Михаилу с Александром,
верно, грезилась она.

И в дороге, и в опале,
и крылаты, и без крыл,
знать, о Ней лишь помышляли
Александр и Михаил.

И загадочным и милым
лик Ее сиял живой
Александр с Михаилом
перед пулей роковой.

Эй вы, дней былых поэты,
старики и женихи,
признавайтесь, кем согреты
ваши перья и стихи?

Как на лавочках сиделось,
чтобы душу усладить,
как на барышень гляделось,
не стесняйтесь говорить.

Как туда вам все летелось

во всю мочь и во всю прыть...
Как оттуда не хотелось
в департамент уходить!

1972

БАТАЛЬНОЕ ПОЛОТНО

Сумерки. Природа. Флейты голос нервный.

Позднее катанье.

На передней лошади едет император

в голубом кафтане.

Серая кобыла с карими глазами,

с челкой вороною.

Красная попона. Крылья за спиною,

как перед войною.

Вслед за императором едут генералы,

генералы свиты,

славою увиты, шрамами покрыты,

только не убиты.

Следом – дуэлянты, флигель-адъютанты.

Блещут эполеты.

Все они красавцы, все они таланты,

все они поэты.

Все слабее звуки прежних клавесинов,

голоса былые.

Только цокот мерный, флейты голос нервный,

да надежды злые.

Все слабее запах очага и дома,

молока и хлеба.

Где-то под ногами и над головами —

лишь земля и небо.

1973

СТАРИННАЯ СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ

Отшумели песни нашего полка,
отзвенели звонкие копыта.
Пулями пробито днище котелка,
маркитантка юная убита.
Нас осталось мало: мы да наша боль.
Нас немного, и врагов немного.
Живы мы покуда, фронтовая голь,
а погибнем – райская дорога.
Руки на затворе, голова в тоске,
а душа уже взлетела вроде.
Для чего мы пишем кровью на песке?
Наши письма не нужны природе.
Спите себе, братцы, – все придет опять:
новые родятся командиры,
новые солдаты будут получать
вечные казенные квартиры.
Спите себе, братцы, – все начнется вновь,
все должно в природе повториться:
и слова, и пули, и любовь, и кровь...
времени не будет помириться.

ЖИЗНЬ ОХОТНИКА

К. Ваншенкину

1

Первый день,
первый день!
Все прекрасно, все здорово,
хоть уж на всем второго
дня
лежит косая тень.

2

День второй – день чудес,
день охоты, день объятий,
никаких еще проклятий
ни из уст
и ни с небес.
Все пока как будто впрок,
все еще полно значенья,
голосок ожесточенья

легкомыслен, как щенок.

3

Третий день – день удач.

За удачею —

удача.

Удивляйся и чудачь,

поживи еще,

чудача.

Нет пока лихих годин

выражений осторожных...

Бог беды

на тонких ножках

в стороне бредет один.

И счастливой на века

обещает быть охота,

и вторая капля пота,

как амброзия,

сладка.

4

День четвертый.

Рука
оперлась на подлокотник...
Что-то грустен стал охотник,
нерешителен слегка.
Вездесущая молва,
о возможном
все страннее,
капли пота солонее
и умеренней слова.
Счастлив будь, Сурок в норе!
Будь спокойна, Птица в небе!
Он —
в раздумьях о добре,
в размышлениях о хлебе.
Из ствола не бьет дымок,
стрелы колют на лучину.
Все,
что было лишь намек,
превращается в причину.

5

Пятый день.
Холодна
за окном стоит погода.
Нет охоты —

есть работа.
Пота нет —
лишь соль одна.
Отрешенных глаз свинец,
губ сухих молчанье злое...
Не похоже,
чтоб скупец,
скапливающий бывшее.
Не похоже,
чтоб глупец,
на грядущее плюющий,
пьянствующий иль непьющий,
верующий
или лжец.
Может, жизнь кроя свою
на отдельные полоски,
убедился,
что в авоське
больше смысла,
чем в раю?...
Или он вдруг осознал,
что, спеша и спотыкаясь,
радуясь и горько каясь,
ничего не обогнал?
Что он там?
Чему не рад
сам себе холоп и барин?
Был, как бес, высокопарен,
стал задумчив, как Сократ.

День шестой,
день шестой...
Все теперь уже понятно:
путь т у д а такой простой —
это больно и приятно.
Все сбывается точь-в-точь,
как напутствие в дорогу.
Тайна улетает прочь...
Слава богу,
слава богу.
Доберемся как-нибудь
(что нам – знойно или вьюжно?),
и увязывать не нужно
чемоданы в дальний путь.
Можно просто налегке,
не трясясь перед ошибкой,
с дерзновенною улыбкой,
словно с тросточкой в руке.
Остается для невежд
ожиданье дней,
в которых
отсыревший вспыхнет порох
душ

или раздастся шорох
вновь проснувшихся надежд.
Что ты там ни славословь,
как ты там ни сквернословь,
не кроится впрок одежда...
Жизнь длиннее, чем надежда,
но короче, чем любовь.

7

День седьмой.
Выходной.
Дверь открыта выходная.
Дверь открыта в проходной...
До свиданья,
проходная!

1973

ПОСЛЕВОЕННОЕ ТАНГО

Вяч. Кондратьеву

Восславив тяготы любви и свои слабости,
слетались девочки в тот двор,
как пчелы в августе;
и совершалось наших душ тогда мужание
под их загадочное жаркое жужжание.
Судьба ко мне была щедра:
надежд подбрасывала,
да жизнь по-своему текла – меня не спрашивала.
Я пил из чашки голубой – старался дочиста...
Случайно чашку обронил —
вдруг август кончился.
Двор закачался, загудел,
как хор под выстрелами,
и капельмейстер удалой кричал нам что-то...
Любовь иль злоба наш удел?
Падем ли, выстоим ли?
Мужайтесь, девочки мои! Прощай, пехота!
Примяли наши сапоги траву газонную,
все завертелось по трубе
по гарнизонной.
Благословили времена шинель казенную,
не вышла вечною любовь – а лишь сезонной.
Мне снятся ваши имена – не помню облика:

в какие ситчики вам грезилось облечься?
Я слышу ваши голоса – не слышу отклика,
но друг от друга нам уже нельзя отречься.
Я загадал лишь на войну – да не исполнилось.
Жизнь загадала навсегда —
сошлось с ответом...
Поплачьте, девочки мои,
о том, что вспомнилось,
не уходите со двора:
нет счастья в этом!

1973

ВЕСНА

Небо синее, как на картинке.
Утро майское. Солнце. Покой.
Улыбается жук на тростинке,
словно он именинник какой.
Все устали от долгой метели,
раздражительны все потому...
Что бы там о зиме вы ни пели,
но длиннее она ни к чему.
Снег такой, что не сыщешь друг друга:
ночь бездонная, словно тюрьма;
все живое засыпала вьюга,
а зачем – позабыла сама.
Всяк, заблудший во льдах ее синих,
поневоле и слеп и безустан...
Нет, увольте от сложностей зимних,
от капризов ее и безумств.
Слава богу, что кущи и рощи
наполняются звоном опять.
Пусть весна легковесней и проще,
да ведь надо же чем-то дышать!
Наслаждается маем природа,
зверь в лесах и звезда в небесах;
а из самого сердца народа
вырывается долгое «ах!».

1974

ЧАЕПИТИЕ НА АРБАТЕ

Пейте чай, мой друг старинный,
забывая бег минут.

Желтой свечкой стеариновой
я украшу ваш уют.

Не грустите о поленьях,
о камине и огне...

Плед шотландский на коленях,
занавеска – на окне.

Самовар, как бас из хора,
напевает в вашу честь.

Даже чашка из фарфора
у меня, представьте, есть.

В жизни выбора не много:
кому – день, а кому – ночь.

Две дороги от порога:
одна – в дом, другая – прочь.

Нынче мы – в доме прогретом,
а не в поле фронтовом,

не в шинелях,
и об этом

лучше как-нибудь потом.

Мы не будем наши раны
пересчитывать опять.

Просто будем, как ни странно,

улыбаться и молчать.

Я для вас, мой друг, смешаю
в самый редкостный букет
пять различных видов чая
по рецептам прежних лет.

Кипятком крутым, бурлящим
эту смесь залью для вас,
чтоб бывшее с настоящим
не сливалось хоть сейчас.

Настояться дам немножко,
осторожно процежу
и серебряную ложку
рядом с чашкой положу.

Это тоже вдохновенье...

Но, склонившись над столом,
на какое-то мгновенье
все же вспомним о былом:
над безумною рекою
пулеметный ливень сек,
и холодную щекою
смерть касалась наших щек.

В битве выбор прост до боли:
или пан, или пропал...

А потом, живые, в поле
мы устроили привал.

Нет, не то чтоб пировали,
а, очухавшись слегка,
просто душу согревали
кипятком из котелка.

Разве есть напиток краше?
Благодарствуй, котелок!
Но встревал в блаженство наше
чей-то горький монолог:

«Как бы ни были вы святы,
как ни праведно житье,
вы с ума сошли, солдаты:
это – дрянь, а не питье!
Вас забывчивость погубит,
равнодушие вас убьет:
тот, кто крепкий чай разлюбит,
сам предаст и не поймет...»

Вы представьте, друг любезный,
как казались нам смешны
парадоксы те из бездны
фронтowego сатаны.

В самом деле, что – крученный
чайный лист – трава и сор
пред планетой, обреченной
на страданье и разор?

Что – напиток именитый?...

Но, средь крови и разлук,
целый мир полузабытый
перед нами ожил вдруг.

Был он теплый и прекрасный...

Как обида нас ни жгла,
та сентенция напрасной,
очевидно, не была.

Я клянусь вам, друг мой давний,

не случайны с древних лет
эти чашки, эти ставни,
полумрак и старый плед,
и счастливый час покоя,
и заварки колдовство,
и завидное такое
мирной ночи торжество;
разговор, текущий скупю,
и как будто даже скука,
но... не скука —
естество.

1975

Я ПИШУ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

В склянке темного стекла
из-под импортного пива
роза красная цвела
гордо и неторопливо.
Исторический роман
сочинял я понемногу,
пробиваясь как в туман
от пролога к эпилогу.
Были дали голубы,
было вымысла в избытке,
и из собственной судьбы
я выдергивал по нитке.
В путь героев снаряжал,
наводил о прошлом справки
и поручиком в отставке
сам себя воображал.
Вымысел – не есть обман.
Замысел – еще не точка.
Дайте дописать роман
до последнего листочка.
И пока еще жива
роза красная в бутылке,
дайте выкрикнуть слова,

что давно лежат в копилке:
каждый пишет, как он слышит.
Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет,
не стараясь угодить...
Так природа захотела.
Почему?
Не наше дело.
Для чего?
Не нам судить.

1975

ПЕСЕНКА КАВАЛЕРГАРДА

Кавалергарды, век не долог,
и потому так сладок он.
Поет труба, откинут полог,
и где-то слышен сабель звон.
Еще рокочет голос струнный,
но командир уже в седле...
Не обещайте деве юной
любви вечной на земле!
Течет шампанское рекою,
и взгляд туманится слегка,
и все как будто под рукою,
и все как будто на века.
Но как ни сладок мир подлунный —
лежит тревога на челе...
Не обещайте деве юной
любви вечной на земле!
Напрасно мирные забавы
продлить пытаетесь, смеясь.
Не раздобыть надежной славы,
покуда кровь не пролилась...
Крест деревянный иль чугунный
назначен нам в грядущей мгле...
Не обещайте деве юной
любви вечной на земле!

1975



Ю. Трифонову

Давайте восклицать, друг другом восхищаться.

Высокопарных слов не стоит опасаться.

Давайте говорить друг другу комплименты —
ведь это все любви счастливые моменты.

Давайте горевать и плакать откровенно
то вместе, то поврозь, а то попеременно.

Не нужно придавать значения злословью —
поскольку грусть всегда соседствует с любовью.

Давайте понимать друг друга с полуслова,
чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова.

Давайте жить, во всем друг другу потакая, —
тем более что жизнь короткая такая.

1975

БОЖЕСТВЕННАЯ СУББОТА

или стихи о том, как нам с Зиновием
Гердтом в одну из суббот не было
куда торопиться
Божественной субботы
хлебнули мы глоток.
От празднеств и работы
закрылись на замок.
Ни суетная дама,
ни улиц мельтешня
нас не коснутся, Зяма,
до середины дня.
Как сладко мы курили!
Как будто в первый раз
на этом свете жили,
и он сиял для нас.
Еще придут заботы,
но главное в другом:
божественной субботы
нам терпкий вкус знаком!
Уже готовит старость
свой неперемный суд.
А много ль нам досталось
за жизнь таких минут?
На пышном карнавале

торжественных невзгод
мы что-то не встречали
божественных суббот.
Ликуй, мой друг сердечный,
сдаваться не спеши,
пока течет он грешный,
неспешный пир души.
Дыши, мой друг, свободой...
Кто знает, сколько раз
еще такой субботой
наш век одарит нас.

1975



Ю. Левитанскому

Заезжий музыкант целуется с трубою,
пассажи по утрам, так просто, ни о чем...
Он любит не тебя. Опомнись. Бог с тобою.
Прижмись ко мне плечом,
прижмись ко мне плечом.

Живет он третий день в гостинице районной,
где койка у окна – всего лишь по рублю,
и на своей трубе, как чайник, раскаленной
вздыхает тяжело...

А я тебя люблю.

Ты слушаешь его задумчиво и кротко,
как пенье соловья, как дождь и как прибой.
Его большой трубы простуженная глотка
отчаянно хрипит. (Труба, трубы, трубой...)
Трубач играет туш, трубач потеет в гамме,
трубач хрипит свое и кашляет, хрипя...

Но как портрет судьбы – он весь в оконной раме,
да любит не тебя...

А я люблю тебя.

Дождусь я лучших дней и новый плащ надену,
чтоб пред тобой проплыть, как поздний лист,
дрожа...

Не много ль я хочу, всему давая цену?

Не сладко ль я живу, тобой лишь дорожа?
Тебя не соблазнить ни платьями, ни снедью:
заезжий музыкант играет на трубе!
Что мир весь рядом с ней, с ее горячей медью?...
Судьба, судьбы, судьбе, судьбою, о судьбе...

1975



О. Чухонцеву

Я вновь повстречался с Надеждой —
приятная встреча.

Она проживает все там же —
то я был далече.

Все то же на ней из поплина
счастливое платье,
все так же горяч ее взор,
устемленный в века...

Ты наша сестра,
мы твои непутевые братья,
и трудно поверить,
что жизнь коротка.

А разве ты нам обещала
чертоги златые?

Мы сами себе их рисуем,
пока молодые,
мы сами себе сочиняем
и песни и судьбы,
и горе тому, кто одернет
не вовремя нас...

Ты наша сестра,
мы твои торопливые судьи,
нам выпало счастье,

да скрылось из глаз.
Когда бы любовь и надежду
связать воедино,
какая бы (трудно поверить)
возникла картина!
Какие бы нас миновали
напрасные муки,
и только прекрасные муки
глядели б с чела...
Ты наша сестра.
Что ж так долго мы были в разлуке?
Нас юность сводила,
да старость свела.

1976

ДОМ НА МОЙКЕ

Меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига,
барона,
не просто тротуар исхоженный, а поле – вечно
и огромно,
вся жизнь, как праздник запоздалый,
как музыкант в краю чужом,
отрезок набережной давней, простертой
за его окном.

Меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига,
барона,
все уместилось понемногу: его любовь,
его корона,
беспомощность – его кормилица, и перевозчика
весло...

О чем, красотка современная, ты вдруг
вздохнула тяжело?

Меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига,
барона,
как между Было и Не стало – нерукотворная
черта.

Ее мы топчем упоенно и преступаем окрыленно,
и кружимся, и кувыркаемся, и не боимся
ни черта.

Как просто тросточкой помахивать,

раскланиваясь и скользя!

Но род людской в прогулке той не уберется
от урона

меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига,
барона.

1976



Летняя бабочка вдруг закружилась над лампой
полночной:

каждому хочется ввысь вознестись над
фортуной непрочной.

Летняя бабочка вдруг пожелала ожить в
декабре,

не разглагольствуя, не помышляя о Зле
и Добре.

Может быть, это не бабочка вовсе, а ангел
небесный

кружит по комнате тесной с надеждой чудесной:
разве случайно его пребывание в нашей глуши,
если мне видятся в нем очертания вашей души?
Этой порою в Салослове – стужа, и снег,
и метели.

Я к вам в письме пошутил, что, быть может,
мы зря не взлетели:

нам, одуревшим от всяких утрат и от всяких
торжеств,

самое время использовать опыт крылатых
существ.

Нас, тонконогих, и нас, длинношеих, нелепых,
очкастых,

терпят еще и возносят еще при свиданьях

нечастых.

Не потому ль, что нам удалось заработать
горбом

точные знания о расстоянье меж Злом и
Добром?

И оттого нам теперь ни к чему вычисления эти.

Будем надеяться снова увидеться в будущем
лете:

будто лишь там наша жизнь так загадочно
не убывает...

Впрочем, вот ангел над лампой летает...

Чего не бывает?

1980

ЕЩЕ ОДИН РОМАНС

В моей душе запечатлен портрет одной
прекрасной дамы.
Ее глаза в иные дни обращены.
Там хорошо, и лишних нет, и страх не властен
над годами,
и все давно уже друг другом прощены.
Еще покуда в честь нее высокий хор поет
хвалебно,
и музыканты все в парадных пиджаках.
Но с каждой нотой, боже мой, иная музыка
целебна...
И дирижер ломает палочку в руках.
Не оскорблю своей судьбы слезой поспешной
и напрасной,
но вот о чем я сокрушаюсь иногда:
ведь что мы с вами, господа, в сравненье с дамой
той прекрасной,
и наша жизнь, и наши дамы, господа?
Она и нынче, может быть, ко мне, как прежде,
благосклонна,
и к ней за это благосклонны небеса.
Она, конечно, пишет мне, но... постарели
почтальоны
и все давно переменялись адреса.

1980

О ВОЛОДЕ ВЫСОЦКОМ

Марине Владимировне Поляковой

О Володе Высоцком я песню придумать решил:
вот еще одному не вернуться домой из похода.

Говорят, что грешил, что не к сроку свечу
затушил...

Как умел, так и жил, а безгрешных не знает
природа.

Ненадолго разлука, всего лишь на миг, а потом
отправляться и нам по следам по его по горячим.

Пусть кружит над Москвою охрипший его
баритон,

ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем.

О Володе Высоцком я песню придумать хотел,
но дрожала рука и мотив со стихом не сходился...

Белый аист московский на белое небо взлетел,
черный аист московский на черную землю
спустился.

1980



Глас трубы над городами,
под который, так слабы,
и бежали мы рядами
и лежали как снопы.
Сочетанье разных кнопок,
клавиш, клапанов, красот;
даже взрыв, как белый хлопок,
безопасным предстает.
Сочетанье ноты краткой
с нотой долгою одной —
вот и все, и с вечной сладкой
жизнью кончено земной.
Что же делать с той трубою,
говорящей не за страх
с нами, как с самой собою,
в доверительных тонах?
С позолоченной под колос,
с подрумяненной под медь?...
Той трубы счастливый голос
всех зовет на жизнь и смерть.
И не первый, не последний,
а спешу за ней, как в бой,
я – пятидесятилетний,
искушенный и слепой.

Как с ней быть? Куда укрыться,
чуя гибель впереди?...
Отвернуться?
Притвориться?
Или вырвать из груди?...

1982

НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

Арсению Тарковскому

Обожаю настольные лампы,
угловатые, прошлых времен.
Как они свои круглые лапы
умещают средь книг и тетрадей,
под ажурною сенью знамен,
возвышают не почестей ради,
как гусары на райском параде
от рождения до похорон!
Обожаю на них абажуры,
кружевные, неярких тонов,
нестареющие их фигуры
и немного надменные позы.
И путем, что, как видно, не нов,
ухожу от сегодняшней прозы,
и уже настоящие слезы
проливать по героям готов.
Укрощает настольные лампы
лишь всеильного утра река.
Исчезает, как лиры и латы,
вдохновенье полночной отваги.
Лишь вздымают крутые бока
аккуратные груды бумаги,
по которым знакомые знаки

равнодушно выводит рука.
Свет, растекшийся под абажуром,
вновь рождает надежду и раж,
как приветствие сумеркам хмурым,
как подобье внезапной улыбки...
Потому что чего не отдашь
за полуночный замысел зыбкий,
за отчаяние и ошибки,
и победы – всего лишь мираж?

1982

ДОРОЖНАЯ ПЕСНЯ

Еще он не сшит, твой наряд подвенечный,
и хор в нашу честь не споет...

А время торопит – возница беспечный, —
и просятся кони в полет.

Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга,
не смолк бубенец под дугой...

Две вечных подруги – любовь и разлука —
не ходят одна без другой.

Мы сами раскрыли ворота, мы сами
счастливую тройку впрягли,
и вот уже что-то сияет пред нами,
но что-то погасло вдали.

Святая наука – расслышать друг друга
сквозь ветер, на все времена...

Две странницы вечных – любовь и разлука —
поделятся с нами сполна.

Чем дальше живем мы, тем годы короче,
тем слаще друзей голоса.

Ах, только б не смолк под дугой колокольчик,
глаза бы глядели в глаза.

То берег – то море, то солнце – то выюга,
то ангелы – то воронье...

Две верных дороги – любовь и разлука —
проходят сквозь сердце мое.

АВТОПАРОДИЯ НА НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ СТИХИ

А. Иванову

Мы убили комара. Не в бою, не на охоте,
а в домашней обстановке, в будний вечер.
Видит бог,
мы не крадучись его, а когда он был в полете...
Мы его предупреждали – он советом пренебрег.
Незадолго перед тем дождь пошел осенний,
мелкий.
За стеной сосед бранился. Почему-то свет мигал.
Дребезжал трамвай.
В шкафу глухо звякали тарелки.
Диктор телевизионный катастрофами пугал.
Расхотелось говорить. Что-то вспомнилось
дурное,
так, какая-то нелепость, горечи давнишний след...
В довершение ко всему меж окошком и стеною
вдруг возник как дуновенье комариный силуэт.
Мы убили комара.
Кто-то крикнул: «Нет покоя!
Неужели эта мерзость залетела со двора!...
Здесь село или Москва?...»
И несметною толпою

навалились, смяли...

В общем, мы убили комара.

Мы убили комара. Он погиб в неравной схватке —
корень наших злключений, наш нарушивший
покой...

На ладони у меня он лежал, поджавши лапки,
по одежде – деревенский, по повадкам —
городской.

Мы убили комара.

За окошком колкий, мелкий,
долгий дождичек осенний затянуться обещал.
Дребезжал трамвай.

В шкафу глухо звякали тарелки.

Диктор телевизионный что-то мрачное вещал.

1982

ПОЛДЕНЬ В ДЕРЕВНЕ

(Поэма)

Вл. Соколову

1

У дороги карета застыла.
Изогнулся у дверцы лакей.
За дорогой не то чтоб пустыня —
но пейзаж без домов и людей.
Знатный баловень сходит с подножки,
просто так, подышать тишиной.
Фрак малиновый, пряжки, застёжки
и платочек в руке кружевной.

2

У оврага кузнечик сгорает,
рифмы шепчет, амброзию пьёт
и худым локотком утирает
вдохновенья серебряный пот.

Перед ним – человек во фраке
на природу глядит свысока
и журчанием влаги в овраге
снисходительно дышит пока.
Ах, кузнечик, безумный и сирый,
что ему твои рифмы и лиры,
строк твоих и напевов тщета?
Он иной, и иные кумиры
перед ним отворяют врата.
Он с природою слиться не хочет...
Но, назойлив и неутомим,
незнакомый ему молоточек
монотонно стрекочет пред ним.

3

Вдруг он вздрогнул. Надменные брови
вознеслись неизвестно с чего,
и гудение собственной крови
докатилось до слуха его.
Показалось смешным все, что было,
еле видимым сквозь дерева.
Отголоски житейского пира
в этот мир пробивались едва.
Что-то к горлу его подступило:
то ли слезы, а то ли слова...

Скинул фрак. Закатал рукава...
На платке оборвал кружева...
То ли клятвы, а то ли признанья
звучали в его голове...

4

И шагнул он, срывая дыханье,
спотыкаясь о струны в траве,
закружился, цветы приминая,
пятерней шевелюру трепля,
рифмы пробуя, лиру ломая
и за ближнего небо моля.
Он не то чтобы к славе стремился —
просто жил, искушая судьбу...
И серебряный пот заструился
по его не великому лбу.
Ручка белая к небу воздета.
В карих глазках – ни зла, ни обид...

5

Заждалась у дороги карета,
и лакей на припеке храпит.



Ю. Давыдову

Нужны ли гусару сомненья,
их горький и въедливый дым,
когда он в доспехах с рожденья
и слава всегда перед ним?
И в самом начале сраженья,
и после, в пылу, и потом,
нужны ли гусару сомненья
в содеянном, в этом и в том?
Покуда он легок, как птица,
пока он горяч и в седле,
врагу от него не укрыться:
нет места двоим на земле.
И что ему в это мгновенье,
когда позади – ничего,
потомков хула иль прощенье?
Они не застанут его.
Он только пришел из похода,
но долг призывает опять.
И это, наверно, природа,
которую нам не понять.
...Ну, ладно. Враги перебиты,
а сам он дожил до седин.
И клетчатым пледом прикрытый,

рассеянно смотрит в камин.
Нужны ли гусару сомненья
хотя бы в последние дни,
когда, огибая поленья,
в трубе исчезают они?

1982



Оле

По прихоти судьбы – разносчицы даров —
в прекрасный день мне откровенья были.
Я написал роман «Прогулки фрайеров»,
и фрайера меня благодарили.
Они сидят в кружок, как пред огнем святым,
забытое людьми и богом племя,
каких-то горьких дум их овевает дым,
и приговор нашептывает время.
Они сидят в кружок под низким потолком.
Освистаны их речи и манеры.
Но вечные стихи затвержены тайком,
и сундучок сколочен из фанеры.
Наверно, есть резон в исписанных листах,
в затверженных местах и в горстке пепла...
О, как сидят они с улыбкой на устах,
прислушиваясь к выкрикам из пекла!
Пока не замело следы их на крыльце
и ложь не посмеялась над судьбою,
я написал роман о них, но в их лице
о нас: ведь все, мой друг, о нас с тобою.
Когда в прекрасный день Разносчица даров
вошла в мой тесный двор, бродя дворами,
я мог бы написать, себя переборов,

«Прогулки маляров», «Прогулки поваров»...
Но по пути мне вышло с фрайерами.

1982

ПАРИЖСКАЯ ФАНТАЗИЯ

Т. К.

У парижского спаниеля лик французского
короля,
не погибшего на эшафоте, а достигшего славы
и лени:

набекрень паричок рыжеватый, милосердие в
каждом движенье,
а в глазах, голубых и счастливых, отражаются
жизнь и земля.

На бульваре Распай, как обычно, господин
Доменик у руля.

И в его ресторанчике тесном заправляют
полдневные тени,
петербургскою ветхой салфеткой прикрывая
от пятен колени,
розу красную в лацкан вонзая, скатерть белую
с хрустом стеля.

Как стараются неутомимо бог, Природа, Судьба,
Провиденье,
короли, спаниели и розы, и питейные все
заведенья,

этот полдень с отливом зеленым между нами
по горстке деля...

Сколько прелести в этом законе!

Но и грусти порой... Voila!

Если есть еще позднее слово, пусть замолвят
его обо мне.

Я прошу не о вечном блаженстве —
о минуте возвышенной пробы,
где возможны, конечно, утраты и отчаянье даже,
но чтобы —
милосердие в каждом движении и красавица
в каждом окне!

1982

АРБАТСКИЕ НАПЕВЫ

1

Все кончается неумолимо.
Миг последний печален и прост.
Как я буду без вас в этом мире,
протяженном на тысячи верст,
где все те же дома и деревья,
и метро, и в асфальте трава,
но иные какие-то лица,
и до вас достучишься едва?
В час, когда распускаются розы,
так остры обонянье и взгляд,
и забытые мной силуэты
в земляничных дворах шелестят,
и уже по-иному крылато
все, что было когда-то грешно,
и спастись от вечной разлуки
унизительно мне и смешно.
Я унижен тобою, разлука,
и в изменника сан возведен,
и уже укоризны поспели
и слетаются с разных сторон,
что лиловым пером заграничным,

к меловым прикасаясь листам,
я тоскую, и плачу, и грежу
по святым по арбатским местам.
Да, лиловым пером из Риеки
по бумаге веду меловой,
лиловеет души отраженье —
этот оттиск ее белой,
эти самые нежность и робость,
эти самые горечь и свет,
из которых мы вышли, возникли.
Сочинились...
И выхода нет.

1982

2

Ч. Амирэджиби

Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант.
В Безбожном переулке хиреет мой талант.
Вокруг чужие лица, безвестные места.
Хоть сауна напротив, да фауна не та.
Я выселен с Арбата и прошлого лишен,
и лик мой чужеземцам не страшен, а смешон.
Я выдворен, затерян среди чужих судеб,
и горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб.
Без паспорта и визы, лишь с розою в руке

слоняюсь вдоль незримой границы на замке
и в те, когда-то мною обжитые края
все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.
Там те же тротуары, деревья и дворы,
но речи несердечны и холодны пиры.
Там так же полыхают густые краски зим,
но ходят оккупанты в мой зоомагазин.
Хозяйская походка, надменные уста...
Ах, флора там все та же, да фауна не та...
Я эмигрант с Арбата. Живу, свой крест неся...
Заледенела роза и облетела вся.

1982



Всему времечко свое: лить дождю,
Земле вращаться,
знать, где первое прозренье,
где последняя черта...
Началась вдруг война – не успели попрощаться,
адресами обменяться не успели ни черта.
Где встречались мы потом?
Где нам выпала прописка?
Где сходились наши души, воротясь с передовой?
На поверхности ль земли?
Под пятой ли обелиска?
В гастрономе ли арбатском?
В черной туче ль грозовой?
Всяк неправедный урок впрок затвержен и
заучен,
ибо праведных уроков не бывает. Прах и тлен.
Руку на сердце кладя, разве был я невезучим?
А вот надо ж, сердце стынет в ожиданье
перемен.
Гордых гимнов, видит бог, я не пел окопной каше.
От разлук не зарекаюсь и фортуны не кляню...
Но на мягкое плечо, на вечернее, на ваше,
если вы не возражаете, я голову склоню.

НАДПИСЬ НА КАМНЕ

Посвящается учащимся 33-й московской школы, придумавшим слово «арбатство»

Пускай моя любовь как мир стара, —
лишь ей одной служил и доверялся
я – дворянин с арбатского двора,
своим двором введенный во дворянство.
За праведность и преданность двору
пожалован я кровью голубою.
Когда его не станет – я умру,
пока он есть – я властен над судьбою.
Молва за гробом чище серебра
и вслед звучит музыкою прекрасной...
Но не спеши, фортуна, будь добра,
не выпускай моей руки несчастной.
Не плачь, Мария, радуйся, живи,
по-прежнему встречай гостей у входа...
Арбатство, растворенное в крови,
неистребимо, как сама природа.
Когда кирка, бульдозер и топор
сподобятся к Арбату подобраться
и правнуки забудут слово «двор» —
согрей нас всех и собери, арбатство.

МУЗЫКАНТ

И. Шварцу

Музыкант играл на скрипке – я в глаза ему
глядел.

Я не то чтоб любопытствовал – я по небу летел.

Я не то чтобы от скуки – я надеялся понять,
как способны эти руки эти звуки извлекать
из какой-то деревяшки, из каких-то бледных
жил,

из какой-то там фантазии, которой он служил?

Да еще ведь надо пальцы знать,

к чему прижать когда,

чтоб во тьме не затерялась гордых звуков
череда.

Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть
и поджечь...

А чего с ней церемониться? Чего ее беречь?

Счастлив дом,

где голос скрипки наставляет нас на путь
и вселяет в нас надежды...

Остальное как-нибудь.

Счастлив инструмент, прижатый к угловатому
плечу,

по чьему благословению я по небу лечу.

Счастлив он, чей путь недолог,

пальцы злы, смычок остер,
музыкант, соорудивший из души моей костер.
А душа, уж это точно, ежели обожжена,
справедливей, милосерднее и праведней она.

1983

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ю. Киму

Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик,
едва твой гимн пространство огласит?
Прислушаться – он от скорби излечит,
а вслушаться – из мертвых воскресит...
Какой струны касаешься прекрасной,
что тотчас за тобой вступает хор,
таинственный, возвышенный и страстный
твоих зеленых братьев и сестер?
Какое чудо обещает скоро
слететь на нашу землю с высоты,
что так легко в сопровожденьи хора
так звонко исповедуешься ты?
Ты тоже из когорты стихотворной,
из нашего бессмертного полка.
Кричи и плачь, авось твой труд упорный
потомки не оценят свысока.
Поэту настоящему спасибо,
руке его, безумию его
и голосу, когда взлетев до хрипа,
он неба достигает своего.

(пластинка, 1986)



Как наш двор ни обижали,
он в классической поре.
С ним теперь уже не справиться,
хоть он и безоружен.
А там Володя во дворе,
а его струны в серебре,
а его пальцы золотые,
голос его нужен.
Как с гитарой ни боролись —
распалялся струнный звон,
как вино стихов ни портили —
все крепче становилось.
А кто сначала вышел вон,
а кто потом украл вагон —
все теперь перемешалось,
все объединилось.
Может, кто и нынче снова
хрипоте его не рад.
Может, кто намеревается
подлить в стихи елея.
А ведь и песни не горят,
они в воздухе парят.
Чем им делают большее,
тем они сильнее.

Что ж печалиться напрасно:
нынче слезы лей – не лей,
но запомним хорошенечко
и повод и причину.
Ведь мы воспели королей
от Таганки до Филей.
Пусть они теперь поэту
воздают по чину.

(пластинка, 1986)

ПРИМЕТА

Если ворон в вышине,
дело, стало быть, к войне.
Если дать ему кружить,
если дать ему кружить,
значит, всем на фронт иттить.
Чтобы не было войны,
надо ворона убить.
Чтобы ворона убить,
чтобы ворона убить,
надо ружья зарядить.
Ах, как станем заряжать,
всем захочется стрелять.
А уж как стрельба пойдет,
а уж как стрельба пойдет —
пуля дырочку найдет.
Ей не жалко никого,
ей попасть бы хоть в кого:
хоть в чужого, хоть в свово,
лишь бы всех до одного.
Во и боле ничего!
Во и боле ничего,
во и боле никого,
во и боле никого,
кроме ворона того —

стрельнуть некому в него.

(пластинка, 1986)



Антон Палыч Чехов однажды заметил,
что умный любит учиться, а дурак – учить.
Сколько дураков в своей жизни я встретил —
мне давно пора уже орден получить.
Дураки обожают собираться в стаю.
Впереди их главный во всей красе.
В детстве я верил, что однажды встану,
а дураков нету – улетели все.
Ах, детские сны мои – какая ошибка,
в каких облаках я по глупости витал.
У природы на устах коварная улыбка...
Видимо, чего-то я не рассчитал.
А умный в одиночестве гуляет кругами,
он ценит одиночество превыше всего.
И его так просто взять голыми руками,
скоро их повыловят всех до одного.
Когда ж их всех повыловят – наступит эпоха,
которую не выдумать и не описать...
С умным – хлопотно, с дураком – плохо.
Нужно что-то среднее. Да где ж его взять?
Дураком быть выгодно, да очень не хочется,
умным – очень хочется, да кончится битьем...
У природы на устах коварные пророчества.
Но, может быть, когда-нибудь к среднему придем.

(пластинка, 1986)



Песенка короткая, как жизнь сама,
где-то в дороге услышанная,
у нее пронзительные слова,
а мелодия почти что возвышенная.
Она возникает с рассветом вдруг,
медлитель и врат не обученная.
Она как надежда из первых рук,
в дар от природы полученная.
От двери к дверям, из окна в окно
вслед за тобой она тянется.
Все пройдет, чему суждено,
только она останется.
Песенка короткая, как жизнь сама,
где-то в дороге услышанная,
у нее пронзительные слова,
а мелодия почти что возвышенная.

(пластинка, 1986)



Солнышко сияет, музыка играет.
Отчего ж так сердце замирает?...
Там за поворотом, недурен собою,
полк гусар стоит перед толпою.
Барышни краснеют, танцы предвкушают,
кто кому достанется, решают.
Но полковник главный на гнедой кобыле
говорит: «Да что ж вы все забыли:
танцы были в среду, нынче воскресенье,
с четверга – война. И нет спасенья.
А на поле брани смерть гуляет всюду.
Может, не вернемся – врать не буду».
Барышни не верят, в кулачки смеются,
невдомек, что вправду расстанутся:
«Вы, мол, повоюйте, если вам охота,
да не опоздайте из похода».
Солнышко сияет, музыка играет.
Отчего ж так сердце замирает?...

(пластинка, 1986)



В день рождения подарок
приподнес я сам себе.
Сын потом возьмет – озвучит
и сыграет на трубе.
Сочинилось как-то так, само собою,
что-то среднее меж песней и судьбою.
Я сижу перед камином,
нарисованным в углу.
Старый пудель растянулся
под ногами на полу.
Пусть труба, сынок, мелодию сыграет.
Что из сердца вышло – быстро не сгорает.
Мы плывем ночной Москвою
между небом и землей.
Кто-то балуется рядом
черным пеплом и золой.
Лишь бы только в суете не заигрался.
Или зря нам этот век, сынок, достался?
Что ж, играй, мой сын кудрявый,
ту мелодию в ночи.
Пусть ее подхватят следом
и другие трубачи.
Нам не стоит этой темени бояться,
но счастливыми не будем притворяться.

(пластинка, 1986)

ПЕСЕНКА О МОЛОДОМ ГУСАРЕ

Грозной битвы пылают пожары,
и пора уж коней под седло...
Изготовились к схватке гусары —
их счастливое время пришло.
Впереди командир,
на нем новый мундир,
а за ним эскадрон
после зимних квартир.
А молодой гусар,
в Наталию влюбленный,
он все стоит пред ней
коленопреклоненный.
Все погибли в бою. Флаг приспущен.
И земные дела не для них.
И летят они в райские кущи
на конях на крылатых своих:
впереди командир,
на нем рваный мундир,
следом юный гусар
покидает сей мир.
Но чудится ему,
что он опять влюбленный,
опять стоит пред ней
коленопреклоненный.

Вот иные столетья настали,
и несчетно воды утекло.
И давно уже нет той Натальи,
и в музее пылится седло.
Позабыт командир —
дам уездных кумир.
Жаждет новых потех
просвещенный наш мир.
А юный тот гусар,
в Наталию влюбленный,
опять стоит пред ней
коленопреклоненный.

(пластинка, 1986)



Все глуше музыка души,
все звонче музыка атаки.
Но ты об этом не спеши,
не обмануться бы во мраке:
что звонче музыка атаки,
что глуше музыка души.
Чем громче музыка атаки,
тем слаще мед огней домашних.
И это было только так
в моих скитаниях вчерашних:
тем слаще мед огней домашних,
чем громче музыка атак.
Из глубины ушедших лет
еще вернее, чем когда-то:
чем громче музыка побед,
тем горше каждая утрата.
Еще вернее, чем когда-то,
из глубины ушедших лет.
И это все у нас в крови,
хоть этому не обучались:
чем чище музыка любви,
тем громче музыка печали.
Чем громче музыка печали,
тем выше музыка любви.

(пластинка, 1986)



Официант Антон Андрианович
ненавидит всякую снедь.

Официант Антон Андрианович
ненавидит посуды звон.

Все равно ему – оловянная,
серебряная, золотая...

И несдержанность постояльцев
оборачивается злом —

И тускнеет шевелюра его завитая.

Шеф-повар Антон Митрофанович
ненавидит всякую снедь:

ему бы селедки да хлеба кусочек.

А супруга пророчит мужу голодную смерть
и готовит ему повкуснее – а он не хочет.

Она идет к нему с блюдами, как на свидание,
но пончики портятся, прокисает рагу
и лежат нетронутыми караси в сметане,
как французские гренадеры в подмосковном снегу.

Полковник Антон Севастьянович
ненавидит шаг строевой:

человеку нужна раскованная походка.

Но он марширует, пока над его головой
клубится такая рискованная погодка.

Я, нижеподписавшийся, ненавижу слова,

слова, которым не боязно в речах произноситься,
слова, от которых кружится говорящего голова,
слова, которые любят со звоном произноситься.
Они себя кулачками ударяют в свинцовую грудь,
выкрикиваются, выпеваются трубно...
Слова, которым так хочется меня обмануть,
хотя меня давно обмануть уже трудно.

(концерт, 1985)



После дождичка небеса просторны,
голубей вода, зеленее медь.
В городском саду флейты да валторны.
Капельмейстеру хочется взлететь.
Ах, как помнятся прежние оркестры,
не военные, а из мирных лет.
Расплескалася в улочках окрестных
та мелодия – а поющих нет.
С нами женщины – все они красивы —
и черемуха – вся она в цвету.
Может, жребий нам выпадет счастливый:
снова встретимся в городском саду.
Но из прошлого, из былой печали,
как ни сетую, как там ни молю,
проливается черными ручьями
эта музыка прямо в кровь мою.

(концерт, 1985)



Из жизни прекрасной, но странной,
и короткой, как росчерк пера,
над дымящейся свежеею раной
призадуматься, право, пора...
Призадуматься и присмотреться,
поразмыслить, покуда живой,
что там кроется в сумерках сердца,
в самой черной его кладовой.
Пусть твердят, что дела твои плохи,
но пора научиться, пора,
не вымалывать жалкие крохи
милосердия, правды, добра.
И пред ликом суровой эпохи,
что по-своему тоже права,
не выжуливать жалкие крохи,
а творить, засучив рукава.

(концерт, 1985)



Что-то дождичек удач падает нечасто,
впрочем, жизнью и такой стоит дорожить.
Скоро все мои друзья выбьются в начальство,
и, наверно, мне тогда станет легче жить.
Робость давнюю свою я тогда осилю.
Как пойдут мои дела, можно не гадать.
Зайду к Юре в кабинет, загляну к Фазилю,
и на сердце у меня будет благодать.
Зайду к Белле в кабинет, скажу:
«Здравствуй, Белла!»
Скажу: «Дело у меня. Помоги решить».
Она скажет: «Ерунда. Разве это дело?»
И, конечно, сразу мне станет легче жить.
Часто снятся по ночам кабинеты эти,
не сегодняшние – нет, завтрашние – да.
Самовары на столе, дама на портрете...
Вообщем, стыдно по пути не зайти туда.
Города моей страны все в леса одеты.
Звук пилы и топора трудно заглушить.
Может, это для друзей строят кабинеты.
Вот построят, и тогда станет легче жить.

(концерт, 1985)